

A romantic scene from a historical drama. A man in a dark blue military uniform with gold embroidery and epaulettes stands next to a woman in a red gown with a white lace collar and a crown. They are looking at each other with affection. The background is a soft, neutral color.

ИЗГНАННИК
за
любовь

Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев
Изгнанник за любовь

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Изгнанник за любовь / В. Кожедеев — «Автор», 2026

Великий князь Михаил Александрович — брат последнего русского императора, человек, который мог бы занять престол, но выбрал любовь. Наталья Вульферт — разведённая женщина с тёмным прошлым, ради которой он отказался от титулов, военной карьеры, родины и самой возможности остаться в истории как «правитель», а не как «изгнанник за любовь». Но их история — не только о любви. Это история о тех, кто оказался рядом: о Пьере, который предал, а потом нашёл в себе силы вернуться и просить прощения; о девушке Мадлен из марсельского порта, чьи руки держали краденый жемчуг и чьё сердце не выдержало тяжести чужой боли; о человеке с ледяными глазами, который выполнял приказы из Петербурга, не зная, что тени, которые он собирает, имеют вес; и о великом князе, который мог уничтожить всех, кто причинил ему боль, но предпочёл простить, потому что сам знал цену страху и любви. Канны, Марсель, Ницца, Петербург. Тайные встречи и шантаж, кражи и предательства, страх и надежда — и одна жемчужная нить

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Вместо предисловия.	5
Глава 1. Снег на плечах.	6
Глава 2. Тень короны.	10
Глава 3. Та, что не во сне.	16
Глава 4. Под сенью опалы.	24
Глава 5. Орёл и разлука.	31
Глава 6. Тайная жизнь	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Владимир Кожедеев

Изгнанник за любовь

Вместо предисловия.

Вместо предисловия.

Это история о великом князе Михаиле Александровиче, младшем сыне императора Александра III, человеке, чья судьба была предопределена рождением, но чье сердце выбрало собственный путь.

Начиная эту историю, я хочу быть с вами откровенным: в ней переплетены реальные события и художественный вымысел. Некоторые персонажи и ситуации вдохновлены жизнью, другие — созданы для того, чтобы сделать повествование более живым и захватывающим. Моя цель — не документальная точность, а возможность почувствовать эпоху, пережить эмоции героев и задуматься о важных вопросах.

Глава 1. Снег на плечах.

Декабрь 1878 года вступал в свои права с той особенной, петербургской жестокостью, которую знают только те, кто родился на берегах Невы. Свинцовые воды ворочались в гранитных берегах, словно огромный зверь, чувствующий приближение холодов. Над городом нависало низкое, тяжёлое небо — не чёрное, не серое, а какое-то промежуточное, цвета старого серебра, которое вот-вот потускнеет окончательно. Ветер с Финского залива дул порывами, хлестал по лицам редких прохожих, заставляя кутаться в воротники, прятать носы в шарфы, ускоряться к домам, где в изразцовых печах потрескивали дрова, где пахло хлебом и топлёным молоком, где было тепло.

Петербург в декабре — город контрастов. На Невском проспекте ещё гремели экипажи, сверкали витрины модных магазинов, офицеры в свежих мундирах прогуливались под руку с дамами в собольих шубах. Но стоило свернуть в переулок, зайти во двор-колодец — и началась другая жизнь: обледенелые ступени, запах щей и керосина из коммунальных кухонь, дети в рваных полушубках, играющие в снежки под окнами, старухи, крестящиеся на купол Исаакия, видный даже сквозь снежную пелену.

Город жил своей обычной жизнью, не зная ещё, что в одном из его дворцов, в Аничковом, через несколько часов появится на свет тот, чьё имя будет вписано в историю не золотом, а кровью и любовью.

Но сейчас, в этот декабрьский день, ничего этого не было. Была только зима. Были снежинки, падающие на гранитные набережные. Была Нева, которая скоро встанет, скованная льдом, и по ней пойдут люди, и лошади, и даже сани с дровами. И был Аничков дворец, стоящий на углу Невского и Фонтанки, где ждали рождения шестого ребёнка.

Аничков дворец в те годы не был парадной резиденцией. Зимний — вот где вершилась судьба империи, где гремели балы, где иностранные послы ожидали аудиенции у государя. Аничков был домом. Домом, где жила семья наследника престола — цесаревича Александра Александровича и его супруги Марии Фёдоровны. Здесь пахло не ладаном и воском, как в Зимнем, а кофе и цветами, здесь на подоконниках стояли горшки с геранью, которую поливала сама великая княгиня, здесь в кабинете хозяина лежали не государственные бумаги, а книги по истории и военному делу, которые он читал по ночам, когда не спалось.

Александр Александрович, будущий император Александр III, не был красавцем. Огромный, грузный, с окладистой бородой и тяжёлым взглядом из-под насупленных бровей, он производил впечатление медведя, которого разбудили среди зимы. Но те, кто знал его близко, видели другое: необыкновенную доброту, скрытую за внешней суровостью, преданность семье, которая была для него не просто долгом, а смыслом жизни, и ту особенную, русскую основательность, с которой он подходил ко всему — от воспитания детей до управления государством.

Сегодня, в день рождения шестого ребёнка, он был не наследником престола, не будущим императором, а просто мужем, который ждал у двери спальни, слушал приглушённые голоса акушерок, смотрел на маятник часов, который отсчитывал секунды с той же неумолимостью, с какой река Нева текла к заливу.

В приёмной было тихо. Горело несколько свечей в высоких подсвечниках, отбрасывая на стены танцующие тени. Камин пылал, и жар от него был таким сильным, что воротник мундира, который Александр Александрович расстегнул ещё час назад, казался лишним. Он ходил из угла в угол — широкий шаг, тяжёлая поступь, — и половицы под его сапогами слегка поскрипывали.

Рядом, на стуле у двери, сидел старый лейб-медик, доктор Густав Иванович Гирш, человек, который принимал уже пятерых детей в этой семье и знал все особенности здоровья великой княгини. Он сидел спокойно, сложив руки на животе, и его лицо, изрезанное морщинами,

не выражало ничего, кроме профессионального терпения. Но Александр Александрович, который знал его много лет, заметил, как напряжены его плечи, как пальцы чуть заметно подрагивают.

— Ваше Императорское Высочество, — осмелился подать голос Гирш, когда шаги наследника стали особенно тяжёлыми. — Всё идёт по плану. Великая княгиня сильна. Не стоит волноваться.

— Я не волнуюсь, — ответил Александр Александрович, хотя голос его прозвучал глухо, и в нём слышалось то, что он пытался скрыть.

Он остановился у окна. За толстыми стёклами, покрытыми инеем, едва угадывался Невский проспект — фонари, смутные силуэты прохожих, лошадиные морды в инее. Снег всё падал — крупный, густой, какой бывает только в Петербурге в начале декабря. Он падал на крыши, на мостовые, на шпили Адмиралтейства, на купол Исаакия, и город становился белым, чистым, почти нереальным.

Он думал о том, что этот ребёнок — третий сын. Уже есть Ники, наследник, вдумчивый, ранимый, с глазами матери. Есть Георгий — живой, бойкий, здоровый, который уже сейчас, в двухлетнем возрасте, обещает стать таким же крепким, как отец. А этот... Этот родится в декабре, в самый тёмный месяц года, когда солнце появляется над Петербургом всего на несколько часов, а потом снова прячется за горизонт.

«Может быть, он будет светлым, — подумал Александр Александрович. — Может быть, он принесёт с собой что-то, чего нам всем не хватает».

Из-за двери донесся звук — не крик, а скорее вздох, протяжный, усталый. Потом — голоса, приглушённые, быстрые. Потом — тишина.

И вдруг — крик.

Тонкий, требовательный, звонкий, он прорезал тишину приёмной, заставив доктора Гирша подняться со стула, а Александра Александровича — обернуться к двери. Крик был не мяуканьем, не писком — он был властным, уверенным, как выстрел стартовой пушки, возвещающий о начале гонки, которая продлится всю жизнь.

— Сын, — сказал доктор Гирш, выходя из спальни с улыбкой, которая впервые за весь вечер тронула его сухие, старческие губы. — Здоров, крепок. Просит кушать. Поздравляю, Ваше Высочество.

Александр Александрович не ответил. Он стоял у двери, и его огромные руки, сжимавшие спинку стула, медленно разжались. Потом он шагнул в спальню.

Спальня великой княгини была полутемной. Шторы задернуты, в углу у иконы теплилась лампада, и в её неровном свете лица акушерок казались лицами с древних фресок — строгими, сосредоточенными, почти святыми. В воздухе пахло лавандой и чем-то ещё — металлическим, чуть горьковатым, запахом крови и усилием, которое остаётся после родов, когда тело помнит каждую минуту, каждую схватку, каждое дыхание.

Мария Фёдоровна лежала на постели, бледная, усталая, но её глаза — тёмные, живые, с той особенной датской голубизной, которая проступала только в минуты большого волнения, — светились. Она улыбалась, и в этой улыбке было всё: и облегчение, и гордость, и та нежность, которую испытывает женщина, впервые взявшая на руки своего ребёнка, даже если этот ребёнок у неё шестой.

Рядом с ней, на подушке, туго спеленатый, лежал свёрток. Белый, с голубой лентой, он казался крошечным по сравнению с огромной кроватью, по сравнению с матерью, по сравнению с тем миром, в который он только что вошёл. Но из-под пелёнок виднелось маленькое, красное, сморщенное личико, и на этом личике были закрытые глаза, и крошечный рот, который только что кричал, а теперь притих, словно чувствуя, что в комнату вошёл кто-то важный.

— Подойди, — тихо сказала Мария Фёдоровна, и её русская речь с лёгким датским акцентом прозвучала особенно мягко.

Александр Александрович подошёл. Он навис над кроватью, огромный, неуклюжий в своём расстёгнутом мундире, и на секунду испугался — а вдруг он раздавит? Вдруг его большие, грубые руки, привыкшие к оружию и лошадиной упряжи, не справятся с этой хрупкой, невесомой ношей?

— Возьми, — сказала Мария Фёдоровна, и в её голосе прозвучало то мягкое, но не терпящее возражения повеление, которое он знал с первого дня их брака.

Он взял. Осторожно, как берут в руки что-то очень дорогое и очень хрупкое. Младенец был лёгким — невесомым почти, — и его головка, которую он поддерживал ладонью, казалась меньше его кулака. Мальчик шевельнулся, открыл глаза.

Глаза были тёмными. Ещё не определившими цвета — серыми, карими, голубыми? Не понять. Но в них было что-то, что заставило Александра Александровича замереть. Они смотрели не на него — они смотрели сквозь него, сквозь время, сквозь эту комнату, сквозь всю жизнь, которая ещё только начиналась. И в этом взгляде было что-то такое, отчего у огромного, тяжёлого человека, будущего императора, перехватило дыхание.

— Миша, — тихо произнесла Мария Фёдоровна, и её голос был полон той особенной, материнской нежности, которую она редко показывала при посторонних. — Назовём его Михаилом.

— Михаил Александрович, — тяжело и весомо проговорил Александр Александрович, словно примеряя имя к судьбе, словно пробуя его на вкус. Имя было правильным. Сильным, древним, русским. Имя архангела, имя полководцев, имя царей.

Он склонился над сыном, и его борода коснулась младенческого лба.

— Будет тебе, Миша, нелегко, — сказал он, и в его голосе было не пророчество, а скорее знание, которое даётся отцу, который сам прошёл через многое. — Третий сын царя — это вечный поиск своего места. Ты не наследник, тебе не готовят престол, но ты — Романов. И это значит, что от тебя будут ждать многого. Слишком многого. Но главное, — он помолчал, и его голос стал тише, почти шёпотом, — главное, будь человеком. С душой. Без души всё остальное — прах.

Младенец, словно поняв, моргнул. Или просто от света лампы? Александр Александрович не знал. Но он почувствовал, как маленькие пальцы, невесомые, как снежинки, сжали его мизинец.

Он поцеловал жену в лоб, чувствуя, как она устало улыбнулась ему, и осторожно передал свёрток в руки кормилицы, которая стояла рядом, готовая принять дитя.

— Дай ему грудь, — сказала Мария Фёдоровна, и в её голосе прозвучала та легкая, ревнивая нотка, которая бывает у женщин, которые кормили сами, но после тяжёлых родов не могут этого сделать. — Пусть ест. Пусть растёт. Пусть живёт.

Александр Александрович вышел в приёмную. Доктор Гирш уже ушёл, и в комнате было тихо. Часы на камине проббили половину двенадцатого. На улице уже давно стемнело, и только фонари на Невском проспекте горели тусклыми жёлтыми огнями, едва пробиваясь сквозь густой снег.

Наследник подошёл к окну. Снег всё падал. Он падал на крыши экипажей, на шляпы прохожих, на спины лошадей, на гранитные парапеты набережных. Он падал на Петербург, и город становился другим — тихим, белым, почти нереальным. В этом снеге, в этом декабрьском затишьи перед рождественской суетой, было что-то от самого Михаила — тихое, светлое, негромкое, но неизбежное.

Александр Александрович подумал о том, что этот мальчик, третий сын, возможно, будет самым счастливым из всех. Не ему носить корону, не ему стоять на вершине власти, где ветер дует сильнее всего. Он будет свободен. Свободен выбирать, свободен любить, свободен быть собой.

«Но и это, — подумал он, — может быть тяжёлой ношей. Свобода — она ведь тоже требует мужества. Может быть, даже большего, чем власть».

Он отошёл от окна, подошёл к камину, бросил в огонь ещё одно полено. Дрова затрещали, искры взлетели вверх, и на секунду комната осветилась ярче.

В дверях спальни показалась акушерка, пожилая женщина с лицом, изрезанным морщинами, но с добрыми, усталыми глазами.

— Ваше Высочество, — сказала она. — Великая княгиня просит вас вернуться. Младенец уснул. Она хочет, чтобы вы посидели с ними.

Александр Александрович кивнул. Он поправил воротник мундира, хотя никто этого не видел, и шагнул в спальню.

Там было тихо. Мария Фёдоровна лежала с закрытыми глазами, её дыхание было ровным, спокойным. Рядом, в специальной колыбельке, стоявшей у самой кровати, спал Михаил. Он спал, и его крошечное лицо, всё ещё красное, сморщенное, было удивительно мирным.

Александр Александрович сел в кресло у кровати, взял жену за руку, и они сидели так, молча, глядя на сына, который спал, не зная ещё, какая жизнь ему уготована, какие испытания, какая любовь, какая боль.

— Он будет добрым, — сказала Мария Фёдоровна, не открывая глаз. — Я чувствую. Таким, как ты.

— Доброта — это хорошо, — ответил он. — Но мир не любит добрых. Мир любит сильных.

— А ты не веришь, что доброта — это и есть сила?

Он промолчал. Может быть, она была права. Может быть, доброта, та самая, которая заставляет прощать, которая не даёт ненавидеть, которая остаётся с человеком, даже когда у него отняли всё, — это и есть настоящая сила.

За окном продолжал падать снег. Он падал на Петербург, на Невский, на Фонтанку, на крыши Аничкова дворца. Он падал на город, который через много лет станет Ленинградом, который переживёт блокаду, голод, смерть и возродится снова. Но сейчас, в этот декабрьский вечер 1878 года, он падал просто на снег. И где-то в этом снеге, в этом городе, в этом мире, начиналась жизнь маленького Михаила, третьего сына царя.

Ему ещё предстояло узнать, что такое изгнание, что такое любовь, ради которой отказываются от всего, что такое прощение, которое труднее, чем месть. Ему предстояло встретить ту, ради которой он потеряет всё, и обрести то, что дороже любых титулов.

Но сейчас он просто спал. Спал в своей колыбельке, укрытый белыми пелёнками, и снег за окном падал, и мать держала отца за руку, и отец смотрел на сына, и думал о том, что этот мальчик, может быть, станет счастливее всех.

Потому что он будет уметь любить. По-настоящему. Без оглядки. Без страха.

А это, возможно, и есть самое главное.

Глава 2. Тень короны.

Гатчина встречала их холодом даже летом. Дворец, выстроенный ещё при императоре Павле, был задуман как крепость — и крепостью он оставался. Толстые стены, узкие окна, подземные ходы, о которых знали только посвящённые, и странная, гулкая тишина, которая, казалось, пропитала каждый камень, каждый завиток лепнины, каждый закоулок.

Семья переехала сюда в 1881 году, после убийства деда, императора Александра II. Грянувший на Сенатской площади взрыв разметал не только царскую карету — он разметал покой всей империи. Александр III, человек огромной физической силы и такой же огромной осторожности, решил, что его семья будет жить там, где её легче защитить. Гатчина, с её рвами, бастионами и подземными ходами, казалась безопаснее любого другого места. Но дети, особенно младшие, чувствовали эту безопасность иначе. Для них она была клеткой.

Михаилу было три года, когда они въехали в Гатчинский дворец. Он не помнил Петербурга, не помнил Аничкова, не помнил времени, когда по коридорам можно было ходить, не оглядываясь. Его детство пахло сыростью гатчинских подвалов, воском, которым натирали паркет, и почему-то всегда — яблоками. Яблоки лежали в вазах в столовой, на подоконниках в классной комнате, в карманах гувернёров, которые пытались удержать его на месте, пока он рвался исследовать очередной тайный ход.

Он рос сорванцом. Если старший брат, цесаревич Николай, был тих, задумчив, раним, любил читать и подолгу сидеть у окна, глядя на гатчинские пруды, то Миша — младший, любимый, шумный — не мог усидеть на месте. Он карабкался по лестницам, пролезал в узкие проходы между стенами, которые когда-то были прорублены для охраны, и терялся во внутренних галереях, пугая гувернёров до полусмерти.

— Ваше Высочество, умоляю! — кричал англичанин мистер Карлайл, человек с длинным лицом и вечно взмокшим воротничком, который был нанят, чтобы учить великих князей английскому языку, но проводил больше времени в поисках своего подопечного, чем за уроками. — Прошу вас, выйдите оттуда! Там могут быть крысы!

— Крысы? — голос Миши доносился из-за стены, где-то между бильярдной и бывшей опочивальней императора Павла. — А они большие? Я хочу посмотреть!

Карлайл хватался за сердце. Горничные, пробегавшие по коридору, прятали улыбки в передники. А Миша, весь в пыли, с горящими глазами, выбирался из своего укрытия и смотрел на перепуганного гувернёра с таким видом, будто только что вернулся из дальнего путешествия.

— Там ход, — сообщал он важно. — Идёт вниз, потом направо, потом снова вниз. Я думаю, он ведёт к пруду. А может быть, к конюшням. Я завтра проверю.

Карлайл закатывал глаза к потолку, где лепные ангелы, держащие гирлянды, взирали на эту сцену с вечным, каменным спокойствием.

Александр III, узнавая о проделках младшего сына, только качал головой, но в его глазах, когда он смотрел на Мишу, всегда было тепло. Он не ругал его за эти исследования. Может быть, потому что сам в детстве был таким же. Может быть, потому что понимал: жить в этой крепости, среди этих стен, под постоянной охраной, когда каждый шаг твой отмечен в каральном журнале, — это тяжёлое испытание для мальчишки, который хочет бегать, прыгать, дышать полной грудью.

— Пусть ищет, — говорил он жене, когда Мария Фёдоровна начинала волноваться, что Миша опять потерялся в подземельях. — Найдёт и вернётся. У него нюх на свободу.

Мария Фёдоровна вздыхала. Она любила всех своих детей, но Мишу — особенно. Может быть, потому что он был самым младшим из сыновей, родившимся после долгого перерыва, когда она уже думала, что больше детей не будет. Может быть, потому что в его живых, серых

глазах, в его вечном движении, в его умении смешить и разряжать любую, самую напряжённую атмосферу, она видела то, чего так не хватало в этом доме — света.

— Он как луч солнца, — говорила она мужу. — В нашей Гатчине, где всегда пасмурно.

— Солнце, которое вечно прячется в подземельях, — усмехался Александр. — Необычное солнце.

Их было трое: Ники, Георгий и Миша. Три наследника, три судьбы, которые должны были сложиться по-разному.

Николай, старший, был любимцем матери. Светловолосый, с огромными, печальными глазами, он рос вдумчивым не по годам. Уже в детстве в нём было что-то от старика — какая-то тихая, глубокая серьёзность, которая пугала отца и умиляла мать. Он не бегал, не прыгал, не лазал по подземным ходам. Он сидел с книгами, слушал, как учителя рассказывают об истории династии, о законах империи, о том, что когда-нибудь, очень нескоро, он станет императором. Эта мысль не вызывала в нём радости. Она вызывала страх.

— Ники боится, — сказал однажды Георгий, которому тогда было лет десять, а Мише — восемь. Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа, свесив ноги вниз, и наблюдали, как старший брат гуляет по парку один, заложив руки за спину, опустив голову.

— Чего он боится? — спросил Миша.

— Короны, — сказал Георгий. — Он боится, что она упадёт. Или что её снимут. Или что он не сможет её удержать. Я слышал, как папа говорил маме: «Ники слишком мягок для этого дела».

Миша задумался. Корона, о которой говорил брат, казалась ему чем-то далёким, почти нереальным. Она лежала где-то там, в Москве, в Оружейной палате, наверное, или в Зимнем дворце, в застеклённом шкафу, и ждала своего часа. Он никогда не думал, что этот час может наступить для Ники. И что этот час может быть страшным.

— А ты? — спросил он Георгия. — Ты боишься?

Георгий усмехнулся. Он был красивым мальчиком — статным, румяным, с живыми, смеющимися глазами. В нём чувствовалась та порода, которую отец называл «истинно русской». Он был сильным, здоровым, весёлым. И, в отличие от Ники, не боялся, кажется, ничего.

— Я? — он спрыгнул с подоконника, потянулся. — Я буду военным. Буду командовать армией. Буду ездить на лошади, носить мундир, стрелять из пушек. А корона — это для Ники. Пусть он с ней и возится.

Он засмеялся, и Миша засмеялся тоже. Но в этом смехе была какая-то неловкость, какая-то тревога, которую он не мог объяснить. Словно они оба знали, что слова Георгия — это не правда, а попытка сделать вид, что всё просто. Что на самом деле ничего простого в их жизни не будет.

А потом Георгий заболел.

Это случилось, когда Мише было шестнадцать лет. Сначала просто кашель — сухой, надсадный, который не проходил ни после микстур, ни после горчичников, ни после тёплого молока с мёдом. Потом — температура, слабость, бледность, которой раньше никогда не было на его румяном, весёлом лице. Врачи качали головами, говорили о туберкулёзе, о необходимости сменить климат, о том, что Гатчина с её сыростью и туманами убивает великого князя.

Георгия отправили в Аббас-Туман, на Кавказ, где, говорят, лечат даже безнадежных. Миша помнил, как брат уезжал — бледный, исхудавший, но всё ещё улыбающийся, всё ещё пытающийся шутить.

— Ты присмотри за Ники, — сказал он Мише на прощание. — Он без нас пропадёт.

— Присмотрю, — пообещал Миша.

Он сдержал слово. Но Георгий больше не вернулся. Он умирал медленно, вдали от дома, от семьи, от всего, что любил. И когда Мише было двадцать, Георгия больше не стало.

Он плакал в тот день. Плакал так, как не плакал никогда — ни до, ни после. А потом вытер слёзы и пошёл к Ники, который сидел в своей комнате, смотрел в окно на гатчинские пруды и тоже плакал.

— Мы справимся, — сказал Миша, хотя сам не верил в это. — Мы справимся без него.

Они обнялись, и в этом объятии было всё: и горе, и страх, и надежда, и то странное, невысказанное чувство, что теперь они только вдвоём.

Александр III был для Миши не просто императором — он был главным человеком в жизни. Огромный, бородатый, с голосом, который, казалось, рождался где-то в глубине груди и звучал как дальний гром, он был для младшего сына воплощением силы, надёжности, той самой «русской мощи», о которой говорили в Европе с уважением и страхом.

Но дома, в семейном кругу, этот грозный император превращался в другого человека. Он любил возиться с детьми, сажал их на колени, рассказывал истории о том, как служил во флоте, как плавал на фрегате «Светлана», как учился стрелять из пушек и вязать морские узлы. Он был неловким в своих нежных проявлениях — огромные руки, способные гнуть подковы, дрожали, когда он держал на них маленького Мишу, — но в этой неловкости было что-то трогательное, что дети чувствовали острее, чем любые слова.

— Папа, а ты боишься? — спросил его однажды Миша, когда они сидели на берегу гатчинского озера и смотрели, как лебеди плавают по тёмной воде.

— Чего? — Александр посмотрел на сына с удивлением.

— Того, что может случиться. Как с дедушкой. Бомба, террористы... Все говорят, что ты следующий.

Александр помолчал. Он знал, что об этом говорят. Знал, что на него готовят покушения, что полиция каждый день перехватывает письма с угрозами, что где-то в подпольных типографиях печатают прокламации, в которых его называют «кровавым палачом» и «душителем свободы». Он знал это. Но он не хотел, чтобы его дети знали.

— Бояться — это нормально, — сказал он наконец. — Бояться — это значит понимать, что ты можешь потерять. Я боюсь. Боюсь за вас, за маму, за Россию. Но страх не должен управлять тобой. Ты должен управлять страхом. Иначе он сожрёт тебя.

Миша смотрел на отца, и в его глазах было что-то, чего Александр не видел раньше — понимание. Не детское, не наивное, а какое-то взрослое, глубокое, словно этот пятнадцатилетний мальчик уже знал, что такое страх. И знал, что с ним делать.

— Я не буду бояться, — сказал Миша. — Я буду сильным. Как ты.

— Ты уже сильный, — сказал Александр, обнимая его. — Сильнее, чем думаешь.

Это было за год до смерти отца. Через год Миша стоял у его гроба и вспоминал этот разговор на берегу гатчинского озера. И думал о том, что страх, о котором говорил отец, теперь стал его страхом. Страхом за брата, за семью, за страну, которая медленно, но неумолимо катилась к чему-то страшному, непоправимому.

Это случилось в Ливадии, в Крыму, где семья проводила осень. Александр III, который всегда казался Мише воплощением железного здоровья, вдруг стал сдавать. Он быстро уставал, бледнел, задыхался после долгой ходьбы. Врачи говорили о нефрите, о болезни почек, о том, что нужно беречь себя, что нельзя переутомляться. Но император не слушал. Он продолжал работать, продолжал принимать министров, продолжал делать вид, что ничего не происходит.

В последние дни он уже не вставал с постели. Миша сидел рядом с ним, держал его огромную, горячую руку, и смотрел, как отец медленно уходит. Уходит в ту самую бездну, о которой он когда-то говорил, но теперь это была не метафора. Это была смерть.

— Миша, — сказал Александр в один из последних вечеров, когда в комнате было тихо, и только море шумело за окном. — Ты помнишь, что я тебе говорил? О страхе?

— Помню, — сказал Миша, и голос его дрогнул.

— Не бойся, — сказал отец. — Что бы ни случилось, не бойся. Будь человеком. С душой. Остальное — приложится.

Он закрыл глаза, и Миша подумал, что он заснул. Но через минуту рука, которую он держал, стала холодеть. И он понял, что отца больше нет.

Он вышел из комнаты. В коридоре стоял Ники — бледный, растерянный, с красными от слёз глазами.

— Он умер, — сказал Миша. И больше ничего не мог добавить.

Ники кивнул. Он не плакал. Он стоял, глядя на закрытую дверь, и в его глазах было что-то, что Миша видел впервые — не страх даже, а какой-то животный ужас, смешанный с непониманием того, что теперь делать.

— Ники, — сказал Миша, подходя к нему. — Мы справимся. Я буду рядом.

Ники посмотрел на него, и в его взгляде была благодарность. Но была и печаль. Печаль человека, который знает, что никакое «рядом» не поможет, когда на тебя надевают корону, которую ты не просил, и говорят: теперь ты император.

Петропавловский собор был залит светом свечей, но этот свет не согревал. Он падал на золотые иконостасы, на траурные знамёна, на гроб, который стоял посередине собора, огромный, тяжёлый, обитый бархатом, с императорской короной на крышке. Вокруг гроба стояли члены императорской фамилии — в чёрном, с низко опущенными головами.

Михаил стоял в траурном мундире, который был ему великоват, и чувствовал, как ткань натирает шею, но не мог пошевелиться. Рядом с ним, слегка покачиваясь, стоял Георгий. Тот самый Георгий, который должен был быть сильным, здоровым, весёлым, но теперь был бледен, исхудал до прозрачности, и из его груди вырывался тот самый кашель — сухой, зловещий, который Миша научился узнавать ещё в детстве.

— Ты держисься? — тихо спросил он брата.

— Держусь, — прошептал Георгий, но в его голосе не было уверенности.

Миша смотрел на старшего брата, который стоял у самого гроба, прямой, неподвижный, с лицом, на котором не было ни слезинки. Николай, ставший императором в двадцать шесть лет, выглядел сейчас не правителем огромной империи, а мальчиком, которого поставили на край пропасти и сказали: «Иди».

— Ники, — тихо шепнул Миша, когда они остались одни в кабинете отца, после того как гроб унесли, и собор опустел, и все разъехались по домам. В кабинете всё ещё пахло кожей и табаком — запахом, который Миша помнил с детства, запахом отца.

Ники сидел в кресле, положив руки на колени, и смотрел в окно, за которым кружил первый снег.

— Мы справимся, — сказал Миша. — Я буду рядом.

Николай повернулся к нему. В его глазах была благодарность. Но была и та самая печаль, которую Миша видел в коридоре Ливадии, когда отец умер.

— Знаешь, Миша, — сказал он. — Я всегда думал, что у меня будет время. Время научиться, время привыкнуть, время понять, что делать. А теперь... теперь времени нет. И я не знаю, что делать.

— Будешь делать то, что считаешь правильным, — сказал Миша. — Как отец.

— Отец был сильным, — сказал Николай. — А я... я не знаю, сильный ли я.

Миша подошёл к нему, положил руку на плечо.

— Ты сильный, Ники. Ты просто не знаешь этого. Но мы узнаем. Вместе.

Николай посмотрел на него долгим взглядом. Потом кивнул и, кажется, впервые за этот день, улыбнулся.

Михаил рос. Из того шумного, вечно лазающего по подземным ходам мальчишки он превращался в статного, высокого молодого человека. Гвардейский мундир сидел на нём так, словно был сшит специально для него — широкие плечи, тонкая талия, уверенная осанка. Он

был красив — той особенной, романовской красотой, которая была не в правильных чертах лица, а в чём-то неуловимом: во взгляде, в улыбке, в том, как он держался, как двигался, как смотрел на мир.

Служба стала для него не просто обязанностью — она стала страстью. Он любил лошадей, любил маневры, любил запах пороха на стрельбищах, любил ту суровую, мужскую романтику казарменной жизни, где нет места сплетням и интригам, где всё просто: есть приказ — его выполняют, есть командир — ему подчиняются, есть товарищи — на них можно положиться.

Он был своим среди офицеров. Не великим князем, который требует особого обращения, а просто Мишей, который может выпить с ними после учений, может пошутить, может послушать, когда кому-то нужно выговориться. Солдаты его обожали — за то, что он не чурался их, мог запросто сесть на скамейку в казарме и закурить папиросу, спросить, как дела дома, есть ли письма от родных, не нужна ли помощь. Это было редкое качество среди Романовых — умение слушать. И умение быть простым.

Но в этой простоте, в этом умении быть своим таилась и опасность. Потому что в Петербурге, где каждый шаг, каждое слово, каждый взгляд имели значение, простота часто принималась за слабость. А доброта — за неумение держать дистанцию.

— Ты слишком много позволяешь им, — говорил ему старший брат, великий князь Александр Михайлович, известный в семье как Сандро. — Они начинают забывать, кто ты.

— Я не хочу, чтобы они помнили, кто я, — отвечал Михаил. — Я хочу, чтобы они видели во мне офицера. Человека. А не титул.

Сандро качал головой. Он был старше, опытнее, знал, как устроен этот мир. В мире, где ты родился великим князем, ты никогда не будешь просто человеком. Ты всегда будешь символом. И то, что для простого человека — доброта, для великого князя — слабость.

Но Михаил не слушал. Или слушал, но делал по-своему. Он жил так, как хотел. И это было его главным достоинством и главной бедой.

Балы в Зимнем дворце, приёмы в Аничковом, визиты в Копенгаген к бабушке, королеве Дании, поездки в Дармштадт к сестре Аликс, ставшей уже императрицей, — всё это было частью его жизни, но никогда не было его жизнью.

На балах он был желанным гостем. Холост, красив, великий князь — матери невест смотрели на него с особым прицелом, принцессы из обедневших немецких домов улыбались ему с той особенной, заученной улыбкой, которая должна была означать «я вас ждала». Но Михаил смотрел на них и не видел ни одной, которая заставила бы его сердце биться чаще.

— Ты слишком разборчив, — говорила ему мать, Мария Фёдоровна, которая мечтала увидеть его женатым, остепенившимся, счастливым. — Посмотри на принцессу Александру фон Саксен-Кобург-Готская. Она прекрасна. И умна. И её род...

— Мама, — перебивал её Михаил. — Я не хочу жениться на её роде. Я хочу жениться на женщине.

— Это одно и то же, — говорила мать, но в её голосе звучало сомнение. Она сама вышла замуж по любви. Она знала, что это не одно и то же.

Михаил искал. Он сам не знал, что именно ищет, но чувствовал, что это — где-то рядом. Не в бальных залах, не в королевских дворцах, не в тех местах, где всё пропитано условностями, где каждый жест просчитан, каждое слово взвешено, каждая улыбка — результат долгих тренировок перед зеркалом.

Он хотел настоящего. Живого. Искреннего. Того, чего так не хватало в его жизни, где всё было подчинено правилам, ритуалам, долгу.

— Ты ищешь Грааль, — сказал ему однажды Георгий, когда они сидели в саду Аничкова, и брат, уже больной, уже понимающий, что дни его сочтены, смотрел на младшего с какой-то особенной, просветлённой грустью. — Ты ищешь то, чего нет.

— Есть, — сказал Михаил. — Я знаю, что есть.

— Откуда ты знаешь?

— Чувствую, — сказал он, и в его голосе была та уверенность, которая не нуждается в доказательствах.

Георгий посмотрел на него, улыбнулся и сказал:

— Тогда ищи. И когда найдёшь — держись за неё. Не отпускай. Никогда.

Это был их последний разговор. Через месяц Георгия не стало.

Год, который перевернул Россию.

«Кровавое воскресенье» раскололо империю надвое. Девятое января, когда войска стреляли в толпу, которая шла к Зимнему дворцу с иконами и портретами царя, стало той точкой, после которой уже нельзя было жить как раньше. Забастовки, митинги, баррикады, убийства чиновников, взрывы в ресторанах, где обедали министры, — всё это было фоном, на котором разворачивалась жизнь императорской семьи.

Михаил, которому было двадцать семь, смотрел на происходящее с болью и недоумением. Он не понимал, как можно стрелять в народ, который идёт к царю. Не понимал, как можно не слышать того, что говорят на улицах. Не понимал, почему его брат, император, который был добр, который не хотел зла, который молился каждое утро за Россию, — почему он не может найти общий язык с теми, кто выходит на улицы?

— Это не его вина, — говорила императрица, которая чувствовала каждое колебание мужа и старалась его защитить. — Это враги. Враги России.

— А те, кто выходит на улицы? — спрашивал Михаил. — Они тоже враги?

— Они заблудшие, — отвечала она. — Их сбивают с пути те, кто хочет уничтожить Россию.

Михаил молчал. Он не знал, что думать. Он только чувствовал, что где-то там, за пределами дворцов, за пределами Петербурга, за пределами всей этой блестящей, пустой, истеричной жизни, есть что-то настоящее. Что-то, что ждёт его.

И в один из вечеров 1905 года, когда за окнами кружил снег, такой же, как в день его рождения, судьба постучала в дверь.

Он открыл.

На пороге стояла она.

Она вошла в его жизнь так же, как вошла в тот вечер в гостиную Аничкова — тихо, незаметно, но так, что после этого уже ничего не могло быть по-старому.

Он не знал тогда, что эта встреча изменит всё. Что он откажется от титулов, от родины, от всего, что составляло его жизнь до неё. Что он будет писать письма, которые никто не прочитает, что будет ждать, надеяться, верить, что будет изгнан и прощён, что будет сажать сад в чужой стране и мечтать о возвращении.

Он не знал, что через несколько лет он будет стоять на крыльце своей виллы в Каннах, смотреть на море и чувствовать её руку в своей. Что он будет читать письма брата, который простил его. Что он будет счастлив — по-настоящему, глубоко, без оглядки.

Он не знал ничего из этого.

Он знал только одно: когда она вошла, мир замер. А потом закружился в том самом снеге, который падал за окном, и уже не мог остановиться.

История только начиналась.

Глава 3. Та, что не во сне.

1905 год вошёл в историю России под кровавым знаком. Девятое января, когда войска стреляли в толпу, шедшую к Зимнему дворцу с иконами и портретами царя, стало той точкой, после которой империя уже никогда не стала прежней. Петербург гудел, как растревоженный улей. Забастовки парализовали заводы и фабрики, баррикады выросли на окраинах за одну ночь, и по утрам дворники сметали с мостовых не только снег, но и гильзы, и листовки, и иногда — тёмные пятна, которых никто не хотел замечать.

В Петергофе, куда императорская семья перебралась из Зимнего дворца, спасаясь от мятежной столицы, воздух был тяжёлым, как перед грозой. Свинцовое небо нависало над парками, над фонтанами, застывшими до весны, над дворцами, которые казались теперь не резиденциями, а крепостями. Усиленные караулы стояли у каждых ворот. Охрана проверяла документы у всех, кто приближался к императорской резиденции. Вокруг Александровского дворца были установлены пулемёты — их привезли тайно, чтобы не пугать обитателей, но слухи просочились, и все знали.

Великий князь Михаил Александрович, которому в декабре 1904 года исполнилось двадцать шесть, а теперь шёл уже двадцать седьмой, задыхался в этой атмосфере. Он был военным. Он любил армию, любил казармы, любил ту суровую, мужскую простоту, где всё ясно: враг — здесь, свои — там, приказ — закон. Но здесь, в Петергофе, в Зимнем, в любом месте, где собиралась императорская фамилия, всё было иначе. Враги были невидимы. Свои могли оказаться предателями. А приказы менялись каждый день, в зависимости от настроения министров, от слухов, от того, что сказала императрица, что посоветовал Распутин, который только начинал свою тёмную карьеру при дворе.

Служба в Гвардейском экипаже, которую Михаил любил всей душой, теперь казалась ему игрой в солдатки. Парады, разводы караулов, парадные мундиры, блестящие пуговицы — всё это было ширмой, за которой происходило настоящее: забастовки, расстрелы, аресты, ссылки. Он выходил на плац, командовал «смирно!», а в ушах у него звучали другие команды — те, что отдавались на улицах, где солдаты стреляли в своих же, в рабочих, в студентов, в женщин с детьми.

Он искал выхода. Искал живого дела, настоящего чувства, хоть чего-то, что не было бы пропитано казёнщиной и придворным этикетом. Он просил брата — императора — перевести его в эскадрон, расквартированный в Гатчине. Дальше от Зимнего, ближе к простым людям.

Николай II, который сам задыхался в этой атмосфере, но не мог позволить себе даже вздохнуть свободно, посмотрел на брата с тоской.

— Ты уверен? Гатчина — это не Петербург. Там скучно. Там нет балов, нет общества...

— Там есть служба, — сказал Михаил. — Настоящая. А не парадная.

Николай помолчал. Он знал, что младший брат прав. Знал, что Гатчина — это не ссылка, а спасение. Для Миши, который всегда был слишком живым, слишком настоящим для этого блестящего, фальшивого мира.

— Хорошо, — сказал он. — Поезжай. Но будь осторожен. Там... там тоже беспокойно.

— Я всегда осторожен, — улыбнулся Михаил, и в этой улыбке было что-то от того мальчишки, который лазал по подземным ходам Гатчинского дворца, убегая от гувернёров.

Николай не улыбнулся в ответ. Он смотрел на брата, и в его глазах была та печаль, которая, казалось, стала его постоянным спутником с того дня, как он надел корону.

— Береги себя, Миша, — сказал он. — Ты у меня один остался.

Михаил вышел из кабинета, и только там, в коридоре, позволил себе выдохнуть. Один. После смерти Георгия, после того как отец ушёл после того, как все великие князья разбежа-

лись по своим углам, они действительно остались вдвоём. Он и Ники. И Ники — император. И Ники — в клетке. И Ники — один.

Он не мог помочь брату. Но он мог хотя бы не добавлять ему хлопот. Мог служить там, где будет полезен. Мог искать своё место — не рядом с тронем, а рядом с людьми.

Гатчина ждала его.

Гатчина встречала его знакомым с детства запахом сырости и времени. Дворец, выстроенный ещё при Павле, стоял на холме, окружённый парками и прудами, и казался не столько резиденцией, сколько памятником ушедшей эпохе. Здесь, в отличие от Петербурга, не было суеты, не было истерики, не было того лихорадочного блеска, который предвещает катастрофу. Здесь была тишина. Тяжёлая, свинцовая, как небо над головой.

Эскадрон, в который определили Михаила, располагался в казармах на окраине города, рядом с железнодорожной станцией. Казармы были новыми, построенными всего десять лет назад, но уже успевшими пропитаться запахом казённого сукна, махорки и солдатского пота. Здесь было всё, что он любил: строгий распорядок, учения, лошади, товарищи, которые не спрашивали, кто ты по рождению, а смотрели, как ты держишься в седле, как командуешь взводом, как ведёшь себя в бою.

Он вписался сразу. Офицеры, поначалу настороженные, быстро поняли, что великий князь не будет требовать особого обращения. Он стоял в общей столовой, спал на походной койке, чистил сапоги сам, не позволяя денщику делать за него то, что он мог сделать своими руками. Он был своим. И это ценилось больше любых титулов.

Но были вечера, когда он оставался один. Когда учения заканчивались, офицеры расходились по своим делам, а он, великий князь, брат императора, оставался в своей казённой комнате, глядел в окно на заснеженный плац и думал. Думал о том, что жизнь проходит. Что ему двадцать семь. Что он ещё не сделал ничего по-настоящему важного. Что всё, что он имел, — это титул, который не выбирал, и служба, которая, как он всё чаще чувствовал, была лишь красивой декорацией.

Он думал о том, чего ему не хватает. И не мог ответить себе. Только чувствовал, что где-то там, за этими окнами, за этими казармами, за этим городом, есть что-то, что изменит всё. Что-то, ради чего стоило родиться великим князем, чтобы потом отказаться от всего.

Он не знал, что это «что-то» уже было рядом. И что оно войдёт в его жизнь в один из самых обычных, самых серых, самых гатчинских вечеров.

Декабрьский день угасал быстро. Синие сумерки опустились на плац, превратив белый снег в синий, а тени от казарм — в длинные, чёрные полосы, уходящие к горизонту. Мороз крепчал, превращая дыхание в облачка пара, которые таяли в воздухе, не успев подняться выше пояса.

Михаил Александрович возвращался с офицерского собрания. Он был в настроении, которое сам не мог определить. Не тоска, не злость, не усталость — какое-то смутное, тянущее чувство, когда кажется, что ты забыл что-то важное, но не можешь вспомнить, что именно. Он шёл не спеша, накинув шинель нараспашку, не чувствуя холода. Сапоги скрипели по утоптанному снегу, и этот скрип был единственным звуком, нарушавшим тишину.

Он думал о том, что жизнь проходит. Что он уже двадцать семь. Что скоро будет двадцать восемь, потом тридцать, потом... Потом что? Служба, парады, балы, интриги, вечное «Ваше Императорское Высочество», которое произносят с поклоном, но за спиной шепчутся. Он устал. Не физически — душой.

Он уже почти поравнялся с крыльцом, когда услышал голос:

— Ваше Императорское Высочество, позвольте представиться.

Голос был тихим, но звонким, как ручей, пробившийся сквозь лёд. Он заставил его поднять голову.

У крыльца, придерживая полы длинной юбки, чтобы не замочить в снегу, стояла молодая женщина. На ней было тёмное пальто с меховым воротником — добротное, но недорогое, такое, какие носили жены офицеров средней руки. Из-под воротника выбивались светлые волосы, чуть влажные от растаявшего снега, и от этого казалось, что её голова окружена сиянием — нездешним, почти нереальным. Лицо её было тонким, с высокими скулами и большими, внимательными глазами, которые смотрели на него без той томной манерности, что отличала фрейлин императрицы, без той притворной скромности, что была принята в свете. Она смотрела прямо. Смотрела так, будто хотела сказать: «Я здесь. Я есть. И мне нужно то, что я не могу получить сама».

Михаил Александрович замер. Впервые за долгое время в его душе что-то ёкнуло. Не так, как на балах, когда княжны опускали ресницы и ждали, что он пригласит их на вальс. Иначе. Глубже. Это было похоже на чувство, которое он испытывал в детстве, когда впервые увидел море — огромное, бесконечное, пугающее и манящее.

— Наталья Сергеевна Вульфферт, — представилась она, чуть наклонив голову. — Жена поручика Вульфферта. Мой муж служит под вашим началом.

— Я знаю вашего мужа, — ответил он, и удивился тому, как ровно прозвучал его голос. Внутри всё кипело, но снаружи — ни следа. Он научился этому за годы при дворе. — Хороший офицер.

— Он простудился, — сказала Наталья, и в её голосе послышалась тревога — живая, неподдельная, не та, что изображают для приличия. — Жар не спадает уже третий день. Доктор прописал лекарства, но в аптеке сказали, что рецепт требует личной подписи полкового командира. Я не знала, к кому обратиться, мне сказали, что вы сегодня здесь...

— Конечно, — быстро сказал он, отступая в сторону и придерживая дверь. — Проходите. Я сейчас распоряжусь.

Она вошла. В вестибюле горели свечи, и в их свете он увидел, как она устала. Под глазами залегли тени — синие, как сумерки за окном. Пальцы, сжимавшие ридикюль, были тонкими и белыми от холода. Она не была красавицей в том смысле, который ценили при дворе. В ней была другая красота — живая, земная, настоящая. Та, которая не требует бриллиантов и горностаев. Та, которая остаётся, когда всё остальное смыто.

От неё пахло морозом, чистотой и чем-то давно забытым, домашним. Тем, чем пахло в детстве в Гатчине, когда они с братьями возвращались с прогулки, замерзшие, раскрасневшиеся, и мать встречала их в прихожей, помогала снять пальто, вела к камину, где уже дымился чай в стаканах.

— Я побеспокоила вас, Ваше Высочество, — сказала она, заметив его пристальный взгляд. В её глазах мелькнуло смущение, но не робость. Она держалась прямо, с тем спокойным достоинством женщины, которая привыкла полагаться только на себя.

— Нисколько, — ответил он и, чтобы скрыть своё волнение, громко позвал денщика.

Пока оформляли бумаги, они стояли в гостиной. Молчание было неловким, но почему-то не тягостным. Он смотрел, как она перебирает пальцами край муфты, и думал о том, что Господь, видимо, всё же услышал его — те самые, никому не сказанные молитвы о чём-то настоящем.

— Вы далеко живёте? — спросил он, когда денщик вернулся с подписанным рецептом.

— На Кировной, — ответила она, пряча бумагу в ридикюль. — Недалеко.

— Позвольте предложить вам экипаж. Темно, мороз, одной женщине...

— Что вы, Ваше Высочество, — поспешно перебила она, и впервые в её голосе послышалась твёрдость, почти отчуждение. — Я не хочу беспокоить. Я привыкла сама.

Она поклонилась и вышла. Слишком быстро. Словно чувствовала, что если задержится ещё на минуту, случится то, что изменит всё.

Он остался стоять у окна. Видел, как её тёмная фигурка скользнула по заснеженной аллее, как она поправила воротник, как на мгновение обернулась — то ли на свет в окнах, то ли на него, стоящего в проёме. Их взгляды встретились. Одно мгновение. Потом она отвернулась и пошла дальше, и снег замел её следы.

Сердце колотилось так, как не колотилось никогда. Даже в первом бою, когда пули свистели над головой и он думал, что сейчас умрёт, даже тогда пульс был ровнее.

Он не спал всю ночь. Ворочался на жёсткой походной койке, прокручивал в голове каждое её слово, каждый взгляд. Она была замужем. За его подчинённым. Это было безумием. Это было невозможно. Это разрушало всё — карьеру, репутацию, отношения с братом-императором, который и так был на взводе после революционных потрясений.

Но он не мог забыть её глаза. Не мог забыть, как она сказала «я привыкла сама». Не мог забыть, как запахло морозом и домом, когда она вошла.

На следующее утро, натянув мундир, Михаил Александрович первым делом справился о здоровье поручика Вульфберта. А через неделю нашёл предлог зайти в их квартиру на Кирочной — якобы проверить, как идёт выздоровление офицера.

Квартира была маленькой — три комнаты на втором этаже старого дома, с окнами во двор, где дети играли в снежки, а старухи выбивали половики. Обстановка была бедной, но чистой: занавески на окнах, вышитые салфетки на комод, фикус на подоконнике, который, казалось, был главным украшением комнаты. Пахло здесь лекарствами, щами и почему-то яблоками — тем же запахом, который он помнил с детства.

Вульферт, бледный, исхудавший, с лихорадочным блеском в глазах, лежал на диване, укрытый старым пледом. Увидев великого князя, он попытался встать, но Михаил жестом остановил его.

— Лежите, лежите, — сказал он, садясь на стул, который Наталья поставила у дивана. — Я ненадолго. Просто хотел убедиться, что вы идёте на поправку.

— Благодарю вас, Ваше Высочество, — проговорил Вульферт, и в его голосе слышалась искренняя признательность. — Доктор сказал, что самое страшное позади. Если бы не ваше содействие с рецептом...

— Пустое, — сказал Михаил. — Это моя обязанность.

Он чувствовал, как Наталья стоит у него за спиной, как её руки, подающие чай, дрожат, когда она ставит чашку на столик. Он не оборачивался. Боялся, что, если обернётся, не сможет скрыть того, что написано у него на лице.

— У вас очень уютно, — сказал он, оглядывая комнату. Слова были пустыми, но что ещё можно сказать, когда сердце колотится так, что, кажется, это слышно всем?

— Мы люди простые, Ваше Высочество, — ответила Наталья, и он услышал в её голосе ту же дрожь, что чувствовал в себе.

Он наконец обернулся. Она стояла у стола, опустив глаза, и её пальцы перебирали край скатерти. На ней было простое шерстяное платье, тёмное, без украшений, и жемчужная нить на шее — единственная драгоценность, которая, наверное, перешла к ней от матери. Она была бледна, и под глазами залегли те же тени, что в тот вечер у крыльца. Но она была здесь. И он был здесь. И между ними, в этой маленькой, бедной комнате, где пахло лекарствами и щами, протянулась та самая невидимая нить, которую он почувствовал в первый вечер.

Он поднялся, попрощался с Вульфертом, вышел в коридор. Она пошла проводить его.

— Выздоровливайте, — сказал он, надевая шинель. — Если что-то понадобится...

— Всё будет хорошо, — сказала она, и в её голосе прозвучало что-то, что он не смог определить. Благодарность? Страх? Или то же самое, что чувствовал он?

Он вышел на улицу. Снегопад прекратился, и луна светила так ярко, что снег искрился, как россыпь бриллиантов. Он шёл по Кирочной, и в голове у него было пусто и полно одно-

временно. Пусто от мыслей, которые он не мог сформулировать. Полно от чувства, которое не мог назвать.

Он знал только одно: он вернётся. Обязательно вернётся.

Он возвращался. Каждый день находил предлог — проверить, как идёт выздоровление поручика, принести лекарства, которые выписал новый доктор, передать привет от сослуживцев. Он знал, что это опасно. Знал, что сплетни в Гатчине распространяются быстрее, чем в Петербурге, потому что здесь меньше людей и больше времени, чтобы их перемалывать. Но не мог остановиться.

Вульферт выздоравливал медленно. Он был слаб, капризен, требовал к себе много внимания, и Наталья проводила дни у его постели, подавая лекарства, меняя компрессы, читая вслух газеты, которые он требовал приносить каждый день. Она уставала, но не жаловалась. Только иногда, когда Михаил заходил, она позволяла себе опустить глаза, вздохнуть, на секунду расслабить плечи — и он видел, как тяжела ей эта ноша.

— Вы не спите ночами, — сказал он однажды, когда они остались вдвоём в коридоре, пока Вульферт дремал. — Это заметно.

— Я сплю, — ответила она, но в её голосе не было уверенности.

— Вам нужно отдыхать. Я пришлю сиделку. У нас в полку есть женщины, которые...

— Не надо, — перебила она, и впервые в её голосе прозвучало что-то резкое. — Я справлюсь сама. Я всегда справляюсь сама.

Он посмотрел на неё. Она стояла, прислонившись к косяку, и её руки, опущенные вдоль тела, были бледными, почти прозрачными. Она была похожа на свечу, которая догорает — не от яркого пламени, а от того, что фитиль слишком долго держат в огне.

— Я знаю, что вы справляетесь, — сказал он тихо. — Но иногда можно позволить кому-то помочь.

Она подняла на него глаза. В них были слёзы — не те, что текут от боли или обиды, а те, что появляются, когда долго сдерживаешься, а потом кто-то говорит доброе слово, и всё рушится.

— Вы не можете мне помочь, — сказала она. — Никто не может.

— Почему?

— Потому что... — она замолчала, отвернувшись. — Потому что я не та, кому помогают. Я та, кто помогает другим. Так было всегда.

Он хотел взять её за руку. Хотел сказать, что понимает, что тоже всегда помогал другим, что тоже устал, что тоже ищет кого-то, кто поможет ему. Но не сказал. Только стоял и смотрел, как она вытирает слёзы уголком платка, и думал о том, что эта женщина — самая сильная из всех, кого он встречал. Сильнее императриц, сильнее великих княгинь, сильнее всех этих дам в бриллиантах, которые не знают, что такое держать умирающего мужа, варить щи и вышивать салфетки, чтобы дом выглядел уютным, когда нет денег на новую мебель.

— Наталья Сергеевна, — сказал он, и впервые назвал её по имени, — я не могу помочь вам с мужем. Но я могу... я могу быть рядом. Если вы позволите.

Она посмотрела на него долгим взглядом. В её глазах, ещё влажных от слёз, он увидел что-то, что заставило его сердце забиться чаще: не страх, не благодарность, а что-то другое. Что-то, что было сильнее всего этого. Надежду.

— Вы не должны этого делать, — сказала она. — Вы — великий князь.

— Я — человек, — сказал он. — Который увидел вас и понял, что всё, что было до этого, — не жизнь.

Она не ответила. Только кивнула, едва заметно, и ушла в комнату к мужу, оставив его стоять в коридоре, где пахло лекарствами и щами, и где в воздухе всё ещё витал её запах — мороза и чистоты, и чего-то давно забытого, домашнего.

С этого дня он стал бывать у них чаще. Не каждый день — это было бы слишком заметно. Но через день, через два. Всегда с предложением: принести газеты, справиться о здоровье, передать привет от полкового командира. Вульферт, которому льстило внимание великого князя, принимал его с радостью. Наталья подавала чай, и её руки дрожали, когда она ставила чашку перед Михаилом.

Они почти не говорили. Только смотрели друг на друга. И в этих взглядах было всё: и страх, и надежда, и то, что нельзя назвать словами, потому что слова были слишком грубы для этого чувства.

Это случилось в парке. Через месяц после того, как они встретились у крыльца.

Вульферт уже вставал с постели, и Наталья могла позволить себе выходить из дома. Они встретились случайно — или не случайно, но кто мог знать? — на аллее, где старые липы тянули ветви к небу, а снег под ногами скрипел так громко, что казалось, его слышно на другом конце парка.

Она шла одна, без шляпки, в тёмном пальто, и её светлые волосы были распущены — он никогда не видел её с распущенными волосами, и это зрелище заставило его замереть. Она была похожа на девушку с картины Боттичелли — нет, не так. На что-то более живое, более настоящее. На женщину, которая вышла из его снов, чтобы стать явью.

— Наталья Сергеевна, — сказал он, подходя.

— Ваше Высочество, — ответила она, и в её голосе не было удивления. Словно она знала, что он будет здесь. Словно пришла сюда, чтобы встретить его.

Они пошли рядом. Молча. Снег скрипел, деревья шумели, где-то вдалеке лаяла собака. Мир был огромным и маленьким одновременно.

— Вы знаете, что говорят в городе? — спросила она вдруг.

— Что говорят?

— Говорят, что великий князь слишком часто навещает больного офицера. Говорят, что причина не в офицере. Говорят... — она замолчала, не в силах продолжать.

— Пусть говорят, — сказал он.

— Вы не понимаете, — она остановилась, повернулась к нему. — Если узнают... если Владимир узнает... он вызовет вас на дуэль. Или... или он опозорит меня. Выгонит. Скажет всем, что я... что мы...

— Мы ничего не сделали, — сказал он, хотя знал, что это неправда. Они уже сделали. Они уже были вместе, хотя никто не прикасался друг к другу. Они уже были связаны той нитью, которую не разорвать ни сплетням, ни дуэлям, ни императорским указам.

— Мы ничего не сделали, — повторила она, но в её голосе не было уверенности.

Он взял её за руку. Она не отняла. Рука её была ледяной, но она не дрожала.

— Перестань называть меня «Ваше Высочество», — сказал он. — Для тебя я просто Михаил.

Она подняла на него глаза. Серые, как невская вода в пасмурный день, огромные, полные боли и надежды.

— Это ничего не меняет, — сказала она. — Я чужая жена. Ты — великий князь. Нас рассудят. И будут правы.

— Пусть судят, — сказал он. — Я не могу жить без тебя. Я не хочу жить без тебя. Я чувствую себя живым только рядом с тобой.

— Это безумие, — прошептала она.

— Тогда пусть это будет самое прекрасное безумие в моей жизни.

Он привлёк её к себе. Она не сопротивлялась. Она прильнула к нему, как утопающий хватается за последнюю надежду, и он почувствовал, как её плечи вздрагивают от беззвучных рыданий.

Он поцеловал её. Впервые. В заснеженном гатчинском парке, где старые деревья помнили ещё императора Павла, где каждый камень дышал историей, а два сердца бились в унисон, нарушая все законы этого мира.

Она не отстранилась. Она обняла его, прижалась щекой к его груди, и он чувствовал её дыхание, её тепло, её слёзы на своей шинели.

— Что же мы делаем, Миша? — прошептала она. — Что же мы делаем...

Он не ответил. Он только держал её, и снег падал на них, и время остановилось. И в этой остановившейся времени было всё, что было раньше, и всё, что будет потом. Имение Брасово, и Канны, и венчание в Вене, и краденый жемчуг, и письма, и прощение, и возвращение. Всё это было в этом поцелуе, в этом прикосновении, в этом мгновении, когда они перестали быть великим князем и женой офицера и стали просто мужчиной и женщиной, которые нашли друг друга и больше не хотели терять.

С этого дня начался их роман. Тайный, мучительный, полный риска и нежности. Роман, которому суждено было потрясти империю, стать причиной опалы и добровольного изгнания, но главное — стать историей любви, которую ни титулы, ни революции, ни даже смерть не смогли уничтожить.

Они встречались тайно. В парке, где старые аллеи скрывали их от чужих глаз. В пустых комнатах Аничкова, когда Михаил приезжал в Петербург по делам. В маленьких гостиницах на окраине Гатчины, куда можно было проникнуть через чёрный ход, не привлекая внимания.

Каждая встреча была на вес золота. Они знали, что их могут обнаружить, что сплетни уже ползут по городу, что кто-то уже донёс императору, что брат смотрит на Михаила с тревогой, но не говорит ни слова, надеясь, что всё пройдёт само.

Но ничего не проходило. Каждая встреча только укрепляла их чувство. Они не могли насытиться друг другом. Не могли наговориться. Не могли надышаться.

Он рассказывал ей о детстве — о Гатчине, о подземных ходах, об отце, который был так добр к нему, о матери, которая плакала, когда он уезжал в полк. Она рассказывала о Москве, о доме Шереметевских в Замоскворечье, о саде, где росли яблони, о матери, которая умерла, когда ей было восемнадцать, о том, как она вышла замуж за Вульфферта, потому что некуда было идти, потому что надо было жить.

— Я не люблю его, — сказала она однажды, когда они сидели на скамейке в дальнем конце парка, где никто не ходил. — Я уважаю его. Я забочусь о нём. Но я не люблю.

— А меня? — спросил он.

Она посмотрела на него. В её глазах было что-то, что он не видел раньше — нежность, благодарность, страх.

— Я боюсь, — сказала она. — Боюсь, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Боюсь, что это отнимут. Боюсь, что я не достойна.

— Ты достойна всего, — сказал он. — Ты — самое лучшее, что было в моей жизни.

— А Россия? — спросила она. — А твой брат? А твой долг?

— Россия — это ты, — сказал он. — Брат — поймёт. Долг — это быть с тем, кого любишь.

Она не ответила. Только прижалась к нему, и они сидели так, глядя, как солнце садится за деревьями, как снег искрится в последних лучах, как мир замирает, чтобы дать им ещё немного времени.

Время. Его всегда было мало. Всегда не хватало. Всегда приходилось расставаться, возвращаться к своим ролям — он к великому князю, она к жене офицера.

Но каждый раз, расставаясь, они знали, что встретятся снова. И это знание было сильнее страха. Сильнее сплетен. Сильнее всего, что пытались их разлучить.

Так началась их история. История, которая изменила всё. История, которая стала для них и проклятием, и спасением. История, которая ждала своего часа, чтобы разразиться скандалом, потрясшим империю.

Но в тот вечер, в заснеженном гатчинском парке, они не думали об этом. Они были просто мужчиной и женщиной, которые нашли друг друга. И это было главное.

Глава 4. Под сенью опалы.

Год 1906-й стал для Михаила Александровича годом раздвоения. Днём он оставался тем, кем его создали рождение и воспитание: великим князем, братом императора, командиром эскадрона Гвардейского экипажа. Его день был расписан по минутам: утренний доклад, смотр лошадей, занятия с солдатами, офицерское собрание, обед с командованием, вечерние рапорты. Каждый его шаг фиксировался в придворных журналах, каждое слово могло быть передано императору, каждый взгляд — истолкован не в его пользу. Он жил в аквариуме, где стёкла были прозрачны только с одной стороны: он видел всех, но и его видели все.

Ночью же он превращался в другого человека. Того, кого не знали придворные камергеры, не знали адъютанты, не знали даже верные денщики. Ночью он сбрасывал не только мундир, но и само понятие «великий князь». Он становился просто мужчиной, который крадётся по чёрным лестницам и задворкам Гатчины, перелезает через ограды, прячется в тених, чтобы провести час-другой в скромной квартире на Кирочной.

Это была опасная игра. Они оба это понимали. Понимали, что каждое свидание может стать последним, что каждое письмо может быть перехвачено, что каждый шёпот в темноте может быть услышан чужими ушами. Но они не могли остановиться. Так же, как не могли перестать дышать.

Михаил Александрович, которому от роду было двадцать семь лет, никогда не думал, что способен на такую осторожность. Он вырос в Гатчине, где за ним смотрели гувернёры, няньки, адъютанты отца. Он никогда не был один, никогда не оставался незамеченным, никогда не крался. Теперь же он стал виртуозом конспирации. Он знал расписание мужа Натальи до минуты — когда Владимир Вульферт уходит на учения, когда возвращается, когда задерживается в офицерском собрании, когда отправляется в увольнение. Он знал, когда уходят дворники с улицы Кирочной, когда гаснут фонари в переулках, где в ограде Гатчинского парка есть проход, который не охраняется, где можно перелезть, не привлекая внимания городских. Он знал, у каких извозчиков можно нанять пролётку, не называя адреса, в каких мелочных лавках можно оставить записку, которая будет передана из рук в руки.

Он стал другим человеком. И этот новый человек нравился ему больше, чем тот, официальный, парадный, с чьим портретом можно было встретиться в иллюстрированных журналах.

Наталья Сергеевна Вульферт, урождённая Шереметевская, была женщиной, которую жизнь не баловала. Она происходила из древнего, но обедневшего дворянского рода, чьи представители когда-то сидели в боярской думе, а теперь едва сводили концы с концами. Её отец, Сергей Александрович Шереметевский, был московским адвокатом — человеком образованным, начитанным, но совершенно не приспособленным к тому, чтобы делать деньги. Он проигрывал дела, которые можно было выиграть, брался за бесплатные защиты, когда нужно было думать о хлебе насущном, и умер от чахотки, оставив дочери восемнадцати лет без гроша, но с отличным знанием французского языка и привычкой держать спину прямой при любых обстоятельствах.

Мать Натальи умерла ещё раньше — она не вынесла родов второго ребёнка, который тоже не выжил. Так Наталья осталась одна. Одна в Москве, в старом доме в Замоскворечье, который надо было продавать за долги. Одна с книжками, которые читала по ночам, с вышивкой, которую научила делать мать, с жемчужной нитью, перешедшей к ней по наследству и ставшей единственным её сокровищем.

Замужество её было историей, увы, нередкой. Владимир Вульферт, поручик Гатчинского эскадрона, человек храбрый на поле боя (он отличился в русско-японскую войну, был ранен, имел награды), но мелкий, ревнивый и ограниченный в быту, увидел её в Москве, куда приехал в отпуск. Она была хороша собой — стройная, светловолосая, с большими серыми глазами

и той особенной, тихой грацией, которая не кричит о себе, но заставляет оборачиваться. Он был офицером, с хорошими перспективами, с жалованьем, которое обеспечивало если не роскошь, то хотя бы сытость. Родственники, которых у Натальи осталось немного, уговорили её: «Выходи, Наташа. Лучше быть женой поручика, чем гувернанткой в чужом доме». Она вышла. Без любви. Без надежды на любовь. Просто потому, что надо было жить.

И теперь она жила. В Гатчине, в казённой квартире на Кирочной, где три комнаты с окнами во двор, где пахло шами и нафталином, где фикус на подоконнике был единственным живым существом, которое радовалось её приходу. Она готовила незатейливые обеды, штопала мужнины мундиры, ходила в лавку за хлебом, читала по вечерам при свете керосиновой лампы, гадала на свечах, глядя в окно на офицерский плац, где иногда мелькали знакомые фигуры.

У них с мужем не было детей. Не потому, что Бог не дал, а потому, что Владимир не хотел. «Потом, — говорил он. — Сначала карьера. Сначала чин. Сначала своя квартира, а не казённая». Но карьера не шла, чин не давали, квартира оставалась казённой, а годы шли. И Наталья, которой уже перевалило за двадцать пять, начинала понимать, что ничего не изменится. Что она так и проживёт свою жизнь в этих трёх комнатах, штопая чужие мундиры, глядя в окно на чужой плац, слушая, как муж храпит по ночам, и гадая на свечах, что будет завтра.

И вдруг в эту серую, размеренную жизнь ворвался он.

Михаил Александрович не был похож на тех великих князей, чьи портреты печатали в иллюстрированных журналах. Он не носил с собой той особенной, породистой надменности, которая отличала, скажем, его дядю, великого князя Владимира Александровича, или кузена, Николая Николаевича, которого в армии боялись больше, чем любого генерала. В нём не было томной усталости от жизни, которая была написана на лицах его старших родственников. Не было той особой жестокости, которая иногда проступала у Романовых, когда они смотрели на «маленьких людей».

Он был прост. До неприличия прост, по мнению придворных. Он мог запросто сесть на скамейку с солдатом и закурить папиросу, расспрашивая его о семье, о деревне, о том, как идут дела. Он мог зайти в казарму без доклада, просто чтобы посмотреть, как кормят людей, если что-то было не так, мог накричать на интенданта так, что тот бледнел и начинал заикаться. Он мог, и это было самым невероятным для человека его круга, краснеть. Краснеть, как гимназист, когда рядом оказывалась она.

Это было так не похоже на всё, что Наталья знала о великих князьях, что она сначала подумала: это игра. Такой же спектакль, как и всё при дворе, где каждый жест отрепетирован, каждая улыбка выверена, каждое слово сказано не просто так. Но потом она поняла: нет. Это не игра. Он действительно такой. Он действительно не знает, что такое гордость. Или, может быть, знает, но его гордость — другого сорта, не та, что заставляет смотреть на людей сверху вниз, а та, что не позволяет врать и притворяться.

— Вы не похожи на великого князя, — сказала она ему однажды, когда они сидели в парке, спрятавшись от случайных взглядов в тени старых лип.

— А какими должны быть великие князья? — спросил он, и в его голосе не было обиды, только искреннее любопытство.

— Не знаю, — сказала она. — Я никогда не была знакома с великими князьями. Но я думала, они другие. Важнее. Недоступнее. Холоднее.

— Я доступнее, чем нужно, — усмехнулся он. — Мне это постоянно говорят.

— Не жалеете об этом, — сказала она. — Это ваше главное достоинство.

Он посмотрел на неё, и в его глазах было что-то, от чего её сердце сжалось.

— Я хочу быть доступным для тебя, — сказал он. — Только для тебя. Для всего остального мира я могу быть кем угодно. Холодным, недоступным, важным. Но для тебя — я просто Миша.

Она не ответила. Она не могла. Слова застревали в горле, потому что если бы она сказала то, что думала, то уже не смогла бы остановиться. А останавливаться было страшно.

Их свидания были краткими, лихорадочными, полными той особой сладости, которая бывает только у запретной любви. Каждая минута была на вес золота. Каждый вздох мог быть последним. Каждый шёпот мог быть услышан.

Он приходил вечером, когда на улице уже темнело и фонари зажигались один за другим. Она впускала его тихо, без слов, только взглядом указывая на дверь, за которой спал муж. Они проходили в маленькую комнату, которую Наталья называла «гостиной», хотя там были только продавленный диван, стол, покрытый вышитой скатертью, и фикус на окне. Он сбрасывал шинель, и она чувствовала запах мороза и табака, смешанный с чем-то ещё, что было только его — особенным, мужским, от которого у неё кружилась голова.

— Миша, вам нельзя здесь быть, — шептала она, хотя уже знала, что он не уйдёт.

— Вернётся через три часа, — отвечал он, привлекая её к себе. — Я всё рассчитал.

Он действительно всё рассчитывал. С точностью часовщика. Он знал, что Владимир Вульфферт уходит на вечерние занятия в манеж в восемь и возвращается не раньше одиннадцати. Знал, что дворник уходит ужинать в девять и возвращается в половине десятого, и в это время калитка во дворе остаётся без присмотра. Знал, что в десять часов городской, который патрулирует Кирочную, сворачивает на соседнюю улицу и возвращается только через двадцать минут. Двадцать минут — это было немного. Но они были их. Двадцать минут, чтобы побыть собой. Чтобы забыть, кто он и кто она. Чтобы просто быть.

Они говорили шёпотом, хотя в квартире, кроме них, никого не было. Привычка. Страх. Или, может быть, та особенная интимность, которая бывает только у тех, кто прячется от всего мира. Они сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, и он рассказывал ей о своей жизни — о том, как рос в Гатчине, как лазал по подземным ходам, как скучал по отцу, которого не стало слишком рано. Она рассказывала о Москве, о Замоскворечье, о старом доме, где окна выходили на церковь, и по воскресеньям колокольный звон будил её, и она лежала в постели, слушая, и думала, что счастье — это когда ты можешь слушать колокола и не думать о том, что будет завтра.

Иногда они молчали. Молчали, глядя друг на друга, и это молчание было красноречивее любых слов. Он смотрел на её руки — тонкие, бледные, с длинными пальцами, которые так умело штопали мундиры и так нежно гладили его волосы. Она смотрела на его лицо — открытое, доброе, с ранними морщинами у глаз, которые появлялись, когда он улыбался.

— Ты красивая, — сказал он однажды, и она рассмеялась — тихо, грудным смехом, который он так любил.

— Я простая, — ответила она. — Очень простая. Не для тебя.

— Ты для меня, — сказал он. — Ты — всё, что мне нужно.

Она не ответила. Она только прижалась к нему, и они сидели так, слушая, как тикают часы на стене, отсчитывая минуты, которые никогда не вернуться.

Однажды, когда они сидели на диване, и за окном шумел дождь, и в комнате было темно, потому что лампу они не зажигали, чтобы свет не привлёк внимания, Михаил сказал то, что давно уже вертелось у него на языке:

— Я больше так не могу.

Она вздрогнула, хотя ждала этих слов. Ждала и боялась.

— Я хочу, чтобы ты была моей, — сказал он. — По-настоящему. Перед Богом и людьми. Я хочу, чтобы ты носила моё имя. Чтобы мы не прятались. Чтобы я мог приходить к тебе не ночью, через чёрный ход, а днём, при всех. Чтобы весь мир знал, что ты — моя жена.

Она сидела на полу, положив голову ему на колени, и её пальцы машинально перебирали кисти его мундира. Это движение стало привычным — перебирать, гладить, чувствовать ткань, чувствовать его тепло через эту ткань.

— Ты с ума сошёл, — прошептала она. — Это невозможно. Твой брат... Император никогда не позволит развода. Это неслыханный скандал. В истории династии не было такого, чтобы великий князь женился на разведённой. Это уничтожит тебя. Уничтожит твою репутацию. Уничтожит твою карьеру. Ты потеряешь всё.

— А что я имею? — спросил он, и в его голосе не было горечи, только спокойная, выстраданная правда. — Титул, который я не выбирал. Имя, которое ношу, как ношу мундир — по обязанности. Место в очереди на престол, до которого никогда не дойдёт очередь. Всё это — не моё. Всё это дано мне по рождению, а не по выбору. А ты — мой выбор. Единственный.

Она подняла на него глаза. В них стояли слёзы — не те, что текут от боли, а те, что появляются, когда понимаешь, что кто-то готов пожертвовать всем ради тебя.

— А я хочу, чтобы ты был счастлив, — сказала она. — Чтобы ты не потерял то, что у тебя есть. Чтобы тебя не уничтожили. Потому что они уничтожат нас, Миша. Оба. И тебя, и меня. Ты думаешь, я не знаю, что такое сплетни? Я живу среди них каждый день. Женщины на рынке шепчутся, когда я прохожу. Офицерские жёны перестали со мной здороваться. Даже дворник на Кирочной смотрит на меня так, будто я... будто я что-то украла.

— Ты ничего не украла, — сказал он, беря её за руку. — Ты — моя. И я — твой. И это не кража. Это дар.

— А если узнает Владимир? — спросила она, и в её голосе прозвучал страх. — Если он узнает, что мы... что я... Он вызовет тебя на дуэль. Или, что хуже, он опозорит меня. Выгонит. Напишет императору. И тогда...

— Тогда я убью его, — спокойно сказал Михаил. — Или он меня. Но жить так дальше я не намерен.

Она смотрела на него, и в её глазах был ужас. Не перед дуэлью, не перед смертью — перед тем, что она может стать причиной его гибели.

— Не говори так, — прошептала она. — Не говори о смерти. Я не переживу, если с тобой что-то случится.

— Со мной ничего не случится, — сказал он, обнимая её. — Я сильный. Я офицер. Я справлюсь. Но я не могу больше прятаться. Я не могу больше врать. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Законной. Перед Богом. Я добьюсь развода. Я уговорю брата. Я откажусь от всего, если понадобится. Но я не откажусь от тебя.

Это был не порыв, не юношеская горячность, не та влюблённость, которая проходит со временем. В его словах чувствовалась выстраданная, зрелая решимость человека, который наконец понял, чего хочет от жизни. И это пугало Наталью больше, чем любая угроза. Потому что она знала: он сделает это. Он действительно сделает. Он откажется от всего. И она будет не в силах его остановить.

Между тем тень уже начала падать на них. Невидимая, но осязаемая, она спускалась на Гатчину, на Кирочную, на казармы, где служил Михаил, на офицерские собрания, где теперь при его появлении воцарялась странная, напряжённая тишина.

В Петербурге, в великосветских гостиных, где сплетни перемалывались быстрее, чем кофе в ручных мельницах, уже зашептались. Шептались дамы в нарядах от Ворта, прихлёбывая чай из севрского фарфора, поправляя бриллиантовые кольца, которые стоили больше, чем годовой бюджет губернии. Шептались княгини и графини, фрейлины императрицы и жены министров, те, для кого сплетни были не просто развлечением, но и оружием.

— Вы слышали? Великий князь Михаил Александрович...

— Говорят, он каждый вечер пропадает у этого поручика...

— Какого поручика? Вульфберга? Того самого, что служит в Гвардейском экипаже?

— Да-да. И знаете, кто эта Вульфберга? Она из Шереметевских. Но те совсем обеднели. Отец был какой-то адвокат в Москве. Умер, оставив её ни с чем.

— И она замужем за этим поручиком? И великий князь... неужели?

— Говорят, да. Говорят, они встречаются тайно. Её муж ничего не знает. А может быть, знает, но молчит. Чин у него, знаете ли, не тот, чтобы спорить с великим князем.

— Какой скандал! И это брат государя! Что скажет императрица? Что скажет вдовствующая императрица?

— Говорят, Мария Фёдоровна уже знает. И она в ужасе. Она всегда любила Мишу больше других детей. И теперь...

— А император? Он что-нибудь предпримет?

— Пока нет. Но говорят, что граф Фредерикс уже готовит доклад. Ждут только удобного момента.

Сплетни ползли по Петербургу, как змеи по весенней траве. Они проникали в Зимний дворец, в Царское Село, в Аничков, где жила вдовствующая императрица. Они достигали ушей тех, кому не следовало бы их слышать, и обходили стороной тех, кто должен был знать всё. Но рано или поздно всё тайное становится явным. И этот час приближался.

Граф Владимир Борисович Фредерикс, министр императорского двора, был старым царедворцем, пережившим трёх императоров. Он помнил Александра II ещё в те годы, когда того называли Освободителем, и помнил его же в тот день, когда бомба революционера разорвала его карету на Екатерининском канале. Он помнил Александра III, огромного, бородастого, который гнул подковы и говорил, что у России нет друзей, кроме армии и флота. И теперь он служил Николаю II — мягкому, ранимому, не созданному для той тяжести, которая лежала на его плечах.

Фредерикс был стар. Ему было под семьдесят, и он уже давно мог бы уйти на покой, но держался за своё место, потому что знал: кто уходит из дворца, тот исчезает из истории. Он был хитёр, опытен, знал все ходы и выходы, все тайны, все скелеты в шкафах императорской фамилии. И он знал, что роман великого князя Михаила Александровича с женой офицера Вульфферта — это не просто любовная интрижка. Это бомба. Бомба, которая может разорвать династию, если её вовремя не обезвредить.

Он явился к императору с докладом в один из дней конца 1906 года, выбрав момент, когда Николай был в своём кабинете в Александровском дворце, один, без советников, без министров. Фредерикс знал: с глазу на глаз говорить легче. Император слушает внимательнее, когда нет свидетелей.

— Ваше Величество, — начал он, теребя эспаньолку, которая давно уже была седой, но которую он продолжал носить по старой моде. — До меня дошли сведения, вызывающие... э-э... некоторое беспокойство относительно образа жизни великого князя Михаила Александровича.

Николай II, сидевший за рабочим столом, поднял на него свои усталые, грустные глаза. Цесаревич Алексей родился всего два года назад, и вся семья жила в постоянной тревоге за его здоровье. Гемофилия, которую обнаружили у наследника в первые месяцы жизни, была тайной, которую хранили строже всех государственных секретов. Каждую ночь императрица не спала, прислушиваясь к дыханию сына. Каждое утро начиналось с вопроса: «Как Алёша?» И вот теперь, на фоне этой постоянной, изматывающей тревоги, — ещё и эти дразги.

— Что за сведения? — спросил император, хотя уже догадывался.

— Великий князь, как говорят, состоит в неподобающих отношениях с супругой одного из офицеров его эскадрона. С некой госпожой Вульфферт. Это уже не просто слухи, Ваше Величество. Это может бросить тень на всю династию. Если об этом узнают в Европе, если об этом напишут в газетах...

Николай отложил перо. Он смотрел на Фредерикса, и в его взгляде было что-то, что заставило старого царедворца сжаться.

— Вы уверены в этих сведениях? — спросил император.

— Мои люди... — начал Фредерикс, но Николай перебил его:

— Я спросил, уверены ли вы. Не ваши люди. Вы.

Фредерикс помолчал. Он знал, что император любит младшего брата. Знает, что для Николая Михаил — не просто великий князь, а человек, с которым они вместе росли, вместе потеряли отца, вместе пережили ужас 1905 года. Лгать было нельзя. Но и говорить всю правду — тоже.

— Я уверен, что эти сведения требуют проверки, — сказал он осторожно. — И что, если они подтвердятся, Вашему Величеству придётся принять меры.

Николай II поднялся, прошёлся по кабинету. За окном кружил снег — такой же, как в день рождения Миши, такой же, как в тот вечер, когда они с братом прощались в Ливадии, у постели умирающего отца.

— Я поговорю с ним, — сказал он наконец. — Это семейное дело. Не нужно придавать ему огласки.

— Как будет угодно Вашему Величеству, — поклонился Фредерикс, но в его глазах мелькнуло удовлетворение. Дело было запущено. Император заговорил с братом. А когда император говорит с братом — это уже не просто семейное дело. Это дело государственное.

Михаила вызвали в Петергоф через три дня. Он поехал, зная, чем это кончится. Знал, что брат будет говорить о долге, о династии, о том, что нельзя ставить свои чувства выше интересов империи. Знал, что ему придётся выбирать. Он надел парадный мундир, начистил пуговицы до зеркального блеска, но сердце его было тяжёлым. Он ехал в Петергоф, оставляя Наталью в Гатчине, и думал о том, что, может быть, видит её в последний раз.

Николай принял его в своём рабочем кабинете, отослав адъютантов. Братья остались одни — двое из сыновей Александра III, оба с ранними морщинами у глаз, оба слишком молодые для той ноши, что лежала на их плечах.

— Миша, — начал Николай, и в его голосе слышалась не столько императорская строгость, сколько боль старшего брата. — До меня дошли слухи. Я не хочу верить сплетням, но я должен знать правду.

Михаил молчал. Он стоял перед братом, чувствуя, как стучат сапоги по паркету, как тикают напольные часы в углу. В горле пересохло, но он знал: лгать он не будет. Не ей. Не ради спасения своей шкуры.

— Это правда, — сказал он тихо, но твёрдо. — Я люблю Наталью Сергеевну. И она любит меня.

Николай побледнел. Он ожидал чего угодно — отрицания, обещания исправиться, даже истерики, — но только не этого спокойного, мужественного признания.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — голос императора дрогнул. — Она замужем. Ты — великий князь, брат государя. Твоя репутация — это часть репутации династии. Ты не имеешь права на такие... на такие мезальянсы.

— Это не мезальянс, — возразил Михаил, и в его голосе впервые прозвучала горечь. — Это любовь. Ты, Ники, должен меня понять. Ты сам женился по любви. Аликс для тебя — всё. Для меня Наталья — всё.

Николай вздрогнул. Удар был точен. Императрица Александра Фёдоровна была для него не просто женой — она была его опорой, его воздухом, его верой. Когда она входила в комнату, мир переставал быть враждебным. Когда она брала его за руку, все тревоги отступали. Он прекрасно понимал, что значит любить женщину вопреки всему миру. Но он был императором. А император не имел права на слабости, которые ставили под угрозу трон.

— Это другое, — сказал Николай, но голос его уже не звучал так уверенно. — Аликс была принцессой. Она приняла православие. Она вошла в нашу семью с благословения. А твоя... твоя Наталья — чужая жена. Пока она замужем, ни о чём не может быть и речи. Ты должен прекратить эти отношения. Немедленно.

— Я не могу, — ответил Михаил. Просто. Без пафоса. — И не буду.

Наступила тяжёлая тишина. Часы тикали, отсчитывая секунды, которые, казалось, длились вечность. Николай смотрел на брата, и в его взгляде смешивались гнев, отчаяние и странное, почти запретное восхищение. Младший брат, которого он всегда считал ветреным, легкомысленным гусаром, оказался твёрже скалы.

— Я отправляю тебя в Орёл, — сказал император наконец. — Командовать Черниговским гусарским полком. Это почётное назначение. Ты будешь далеко от Гатчины. От... неё. Время лечит, Миша.

— Время не лечит, Ники, — ответил Михаил. — Оно лишь показывает, что действительно важно.

Он поклонился и вышел, не попрощавшись. В коридорах Зимнего его шаги звучали гулко и одиноко. Он шёл к выходу, и в его голове билась одна мысль: «Наташа. Что я скажу Наташе?»

Он пришёл к ней в тот же вечер. Не стал ждать условленного часа, не стал рассчитывать маршруты и обходы. Он просто пришёл. Постучал в дверь, как обычный человек, не таясь, не прячась.

Она открыла. Увидела его лицо и всё поняла.

— Ты видел брата, — сказала она, впуская его.

— Да.

Она провела его в гостиную, зажгла лампу. Он сел на диван, уронив руки на колени. Она села рядом, взяла его руку.

— Что он сказал?

— Орёл, — сказал Михаил. — Командование Черниговским гусарским полком. Почётная ссылка.

Она не заплакала. Она сидела, сжимая его руку, и смотрела в одну точку на стене.

— Когда?

— Через неделю.

— Неделя, — повторила она. — Это немного.

— Я вернусь, — сказал он. — Я не оставлю тебя. Я буду писать. Каждый день. И ты будешь писать мне. Мы найдём способ.

— Найди, — сказала она. — Пожалуйста, найди.

Она повернулась к нему, и в её глазах он увидел то, чего не видел никогда — не страх, не отчаяние, а что-то другое. Решимость. Она была готова. Готова ждать, готова бороться, готова потерять всё, но не его.

— Я буду ждать, — сказала она. — Сколько нужно. Я буду ждать.

Он обнял её, и они сидели так, слушая, как тикают часы на стене, отсчитывая последние минуты их гатчинской жизни. За окном шумел ветер, где-то вдалеке лаяла собака, и было тихо-тихо, как перед бурей.

— Я люблю тебя, — сказал он.

— Я тоже, — ответила она. — Я тоже.

Он ушёл под утро, когда небо на востоке начало светлеть. На пороге он обернулся, посмотрел на неё — растрёпанную, бледную, с красными от бессонницы глазами, но такую прекрасную, что у него перехватило дыхание.

— Я вернусь, — сказал он. — Обещаю.

— Я буду ждать, — сказала она.

Он вышел. Дверь закрылась. И в этой закрытой двери было всё: и прощание, и надежда, и обещание вернуться.

Глава 5. Орёл и разлука.

Поезд на Орёл отходил с Московского вокзала в восемь утра. Михаил Александрович приехал за час — не потому, что боялся опоздать, а потому, что не мог больше оставаться в Петербурге. Город давил на него. Каждый угол напоминал о ней: на Невском они однажды гуляли, когда она приезжала к тётке; в Гостином дворе он купил ей шарф, который она потом носила всю зиму; даже запах мокрого снега, которым пахло на перроне, вызывал в памяти тот вечер у крыльца, когда он впервые увидел её.

Он стоял у окна вагона первого класса, смотрел на суету провожающих, на паровозный дым, на солдат, которые бежали по перрону с вещмешками, и думал о том, что оставляет позади не просто Петербург. Он оставляет её. Он оставляет часть себя, которая отныне будет жить там, в Гатчине, на Кировной, в маленькой квартире, где пахнет щами и нафталином, где фикус на подоконнике и вышитые салфетки на комодe, где она каждое утро будет просыпаться рядом с чужим мужчиной и думать о нём.

— Ваше Высочество, разрешите обратиться?

Он обернулся. Рядом стоял его новый денщик, унтер-офицер Ефим Сазонов, коренастый, с лицом, изрытым оспой, но с добрыми, спокойными глазами. Михаил попросил, чтобы ему дали денщика не из гвардии, а из армейских — тех, кто служит не за блестящие пуговицы, а за совесть.

— Что, Ефим?

— Проводник спрашивает, не желаете ли чаю? До Орла ехать долго. Я распоряджусь, чтобы самовар поставили.

— Спасибо, Ефим. Чай — хорошо.

Он сел на диван, откинулся на спинку. Поезд тронулся. Петербург оставался за окном — сначала вокзальные постройки, потом окраины, потом поля, засыпанные первым снегом. Он смотрел на этот снег и думал о том, что отец, наверное, сейчас смотрит на него с небес и качает головой. «Будет тебе, Миша, нелегко», — сказал он тогда, в день его рождения. Легко не было никогда. Но сейчас — особенно.

Он достал из кармана фотографию. Она была маленькой, любительской, сделанной в Гатчине, в парке, когда они гуляли, думая, что их никто не видит. Наталья стояла у старой липы, светлые волосы выбились из-под шляпки, и она улыбалась — той улыбкой, которую он видел только для него. На обороте её рукой было написано: «Мише. Помни». Он поднёс фотографию к губам, поцеловал и спрятал в нагрудный карман, к сердцу.

Поезд набирал скорость. Петербург исчезал за горизонтом. Впереди был Орёл.

Орёл встретил его серым ноябрьским небом и холодным, пронизывающим ветром. Город стоял на высоких холмах, над рекой Окой, и был похож на все русские провинциальные города: невысокие дома, церкви с зелёными куполами, базарная площадь, на которой в этот час было пусто, и длинные, немощёные улицы, по которым телеги ездили только летом, а зимой ходили только санные пути.

Черниговский гусарский полк стоял в казармах на окраине, недалеко от вокзала. Казармы были старыми, ещё николаевских времён, с толстыми стенами и узкими окнами, но чистыми и тёплыми. Солдаты топили печи по-чёрному, и в воздухе витал запах дыма, махорки и казённого сукна.

Михаил осмотрел казармы в первый же день. Он прошёл по спальням, где на железных койках лежали серые солдатские одеяла, сложенные углом; по столовой, где пахло щами и кашей; по конюшням, где лошади, почуяв нового командира, заржали и забили копытами. Он разговаривал с солдатами, спрашивал, как кормят, как лечат, как учат. Спрашивал, кто откуда родом, есть ли письма из дома, не нужна ли помощь.

Солдаты смотрели на него с настороженностью. Они знали, кто он — великий князь, брат самого императора. Такие приезжали редко, а если приезжали, то только для того, чтобы провести смотр и уехать. Но этот не торопился. Этот стоял в казарме, курил папиросу, слушал, как рядовой Терешенко из Черниговской губернии рассказывает, что отец у него помер, а мать осталась с малыми детьми, и вот уже третий месяц нет вестей. Этот смотрел не поверх голов, а в глаза. И солдаты, которые сначала жались к стенам, начинали оттаивать.

— Ваше Высочество, — сказал старый вахмистр, выслуживший три срока, — а правду говорят, что вы из гвардии к нам перевелись? Из самого Петербурга?

— Правду, — сказал Михаил.

— И не жалко? У нас тут глушь. Скука. Ни балов, ни театров.

— У меня служба, — ответил Михаил. — А служба — везде служба. Хороший полк. Хорошие люди. Не жалею.

Вахмистр покосился на него, хотел ещё что-то спросить, но не решился. Только козырнул и отошёл. Но после этого разговора по полку пошёл слух: наш новый командир — свой. Не чета тем, что были раньше.

Письма от Натальи приходили редко. Она боялась. Боялась, что их перехватят, что муж найдёт, что кто-то донесёт императору, что тогда они лишатся даже той возможности — писать, — которую имели сейчас. Она отправляла письма через верную подругу, жену другого офицера, которая передавала их на почту в Петербурге, чтобы не отслеживали маршрут из Гатчины. Каждое письмо было коротким, скупым, но каждое слово в нём было на вес золота.

«Миша, я жива. Жду. Каждый день смотрю на вокзал. Каждый вечер гашу свечу и думаю о тебе. Приезжай, когда сможешь. Я буду ждать. Твоя Н.»

Он читал эти письма по десять, по двадцать раз. Носил их в нагрудном кармане, рядом с фотографией, и иногда, когда оставался один, доставал, перечитывал, водил пальцем по строчкам, написанным её мелким, нервным почерком. Она волновалась, когда писала — это было видно по тому, как буквы наклонялись то в одну, то в другую сторону, как чернила расплывались в конце строк, когда она задумывалась и держала перо на месте.

Он же писал каждый день. По три-четыре страницы, иногда больше, исписывая бумагу мелким, торопливым почерком, в котором опытный графолог различил бы и страсть, и отчаяние, и ту особую нежность, на которую способны только очень сильные и очень одинокие мужчины. Он писал о службе, о лошадях, о солдатах, о том, как Ока покрылась льдом и как по ней теперь ходят санные пути. Он писал о том, как скучает, как считает дни до их следующей встречи, как боится, что она забудет его, пока он здесь.

«Моя дорогая, моя Наташа,»

«Сегодня я объезжал полк. Сто пятьдесят лошадей, пятьсот человек, и ни одного лица, которое я хотел бы видеть. Я смотрю на солдат и думаю о том, что если бы ты была рядом, я бы показал тебе, как они маршируют. Ты бы смеялась. Я так хочу слышать твой смех. Я забываю, как ты смеёшься. Приезжай. Умоляю тебя.»

Он не отправлял все письма. Некоторые — самые отчаянные, самые личные — он прятал в ящик стола, чтобы перечитать потом, когда сможет быть с ней. Он знал, что если отправить их, она испугается. Испугается его отчаяния, его решимости, его готовности бросить всё и приехать за ней прямо сейчас, не думая о последствиях.

Он сидел вечерами в своей казённой квартире — двух комнатах при казармах, с окнами на плац, — и писал. За окнами выл ветер, в печи потрескивали дрова, и он писал, писал, выплёскивая на бумагу то, что не мог сказать вслух. Иногда ему казалось, что если он остановится, то умрёт. Не от болезни, не от пули, а от той пустоты, которая сжимала грудь, когда он понимал, что её нет рядом.

Наталья оставалась в Гатчине. Она оставалась в той самой квартире на Кирочной, где когда-то была так счастлива — в те короткие часы, когда он приходил к ней, когда они сидели

на продавленном диване, говорили шёпотом, смеялись, прижавшись друг к другу. Теперь квартира была пустой. Не в смысле мебели — мебель осталась та же: диван, стол, фикус на окне, вышитые салфетки на комод. Пустой она была в другом смысле. В ней не было его. И без него всё становилось чужим, холодным, ненужным.

Владимир Вульферт, её муж, уже догадывался обо всём. Он не был глупцом — он видел, как она изменилась. Как стала бледной, молчаливой, как перестала спорить по пустякам, как её глаза, которые раньше смотрели на него с терпеливой, усталой покорностью, теперь смотрели куда-то вдаль, сквозь него, сквозь стены, сквозь этот город, туда, где был Орёл.

Он не поднимал скандала. Он был слишком мал для открытой конфронтации с великим князем. Чин поручика, мелкое дворянство, никакой родни, которая могла бы заступиться — что он мог противопоставить брату императора? Но он мог сделать её жизнь невыносимой. И он делал.

По утрам, когда она подавала ему чай, он молчал. Не здоровался, не благодарил, просто брал чашку и смотрел в окно. Молчание было тяжёлым, вязким, оно заполняло комнату, как туман, и в этом молчании она задыхалась. Вечером, возвращаясь из полка, он хлопал дверью так, что стены дрожали. Иногда бросал на стол конверт с деньгами — жалованье, которое должен был отдавать на хозяйство, — и уходил в другую комнату, не сказав ни слова.

А иногда, особенно по ночам, когда он напивался в офицерском собрании, а потом возвращался домой, пьяный, злой, униженный, — тогда стены трещали по-настоящему.

— Ты думаешь, я не знаю? — шипел он, нависая над ней, и она чувствовала запах перегара и табака, и ей становилось дурно. — Ты думаешь, я слепой? Вся армия смеётся у меня за спиной. «Вульферт, — говорят, — Вульферт, а что же твоя жена? Говорят, у неё теперь покровитель выше рангом?» А я молчу. Я должен молчать. Потому что он — великий князь. А я — поручик. Никто.

Она молчала. Она научилась молчать. Молчать, когда он кричит, молчать, когда он плачет, молчать, когда он, обессиленный, падает на диван и засыпает, а она стоит над ним и смотрит на его лицо — жалкое, опухшее, чужое, — и думает о том, что когда-то, давно, в другой жизни, она согласилась быть его женой. Она думала, что это будет честная, простая жизнь. Она ошиблась.

— Ты думаешь, он на тебе женится? — шипел он в одну из таких ночей, когда она стояла у окна, глядя на заснеженный плац, и ждала, когда этот кошмар кончится. — Да ты для него — проститутка, игрушка! Наиграется и выбросит, как надоевшую вещь. А я всю жизнь буду ходить в рогатых! Вся армия будет пальцем показывать: вон, мол, Вульферт, у которого жена была у великого князя!

Она повернулась к нему. В её глазах не было страха. Не было злости. Была только усталость.

— Ты закончил? — спросила она спокойно.

Он смотрел на неё, и в его взгляде было что-то, чего она не видела раньше. Не злоба — бессилие. Он был уничтожен. Не ею, не Михаилом, а самим фактом того, что он — маленький человек, а они — большие, и между ними пропасть, которую не перепрыгнуть.

— Убирайся, — сказал он, отворачиваясь. — Убирайся к своему князю. Мне всё равно.

Она не убралась. Она осталась. Не потому, что хотела остаться, а потому, что у неё не было выбора. Она была его женой. Она была замужем. И пока этот брак существовал, она не могла быть ни с кем другим. Ни с ним. Ни с Мишей. Она была в ловушке. И чем больше она пыталась вырваться, тем туже затягивались петли.

В Орёл она решила поехать осенью 1907 года. Это было безумие. Если бы кто-то узнал, что жена офицера, о которой уже судачил весь Петербург, отправилась к месту службы великого князя без мужа, скандал был бы неминуем. Её могли арестовать, выслать, посадить в кре-

пость — за бродяжничество, за нарушение супружеского долга, за что угодно. Законы империи не были на стороне женщин, которые оставляли мужей ради любви.

Но она больше не могла ждать.

Она ждала год. Год писем, которые приходили редко, год молчания, которое душило её, год ночных скандалов, после которых она плакала в подушку, зажимая рот, чтобы не разбудить соседей. Она ждала, и с каждым днём понимала, что больше не может. Не может просыпаться рядом с чужим мужчиной. Не может готовить обеды для того, кого не любит. Не может смотреть на фикус на подоконнике и вспоминать, как он сидел на этом диване, как его руки — сильные, тёплые — гладили её волосы.

Она написала ему короткое письмо: «Жди. Я приеду». И отправила его с тем же человеком, что передавал письма раньше. Потом собрала саквояж — самое необходимое: платье, бельё, жемчужную нить, которая была единственной памятью о матери, и фотографию Миши, которую он прислал ей из Орла. На фотографии он был в гусарском мундире, с шашкой на боку, и улыбался той своей открытой, мальчишеской улыбкой, от которой у неё каждый раз замирало сердце.

Она вышла из дома, когда муж ушёл на службу. На вокзал ехала на извозчике, и всю дорогу смотрела в окно, на гатчинские улицы, которые знала теперь так же хорошо, как линии на своей ладони. Она прощалась с этим городом. Не навсегда — она знала, что вернётся. Но сейчас она прощалась с тем, что было. С той жизнью, в которой она была женой поручика Вульфберта. С той жизнью, в которой не было любви.

На вокзале она купила билет до Орла. Третий класс. Денег было в обрез, а брать лишнее из дома она не хотела — муж заметил бы. Она села в вагон, прижалась лицом к холодному стеклу и смотрела, как Петербург, а потом и Гатчина, остаются позади. Сначала город, потом окраины, потом поля. Поля были пусты — ноябрь, всё убрано, только чёрная земля, перемешанная со снегом, да редкие деревни, в которых дымили печи. Она смотрела на эти поля и думала о том, что едет к нему. Что через сутки она увидит его. Что они будут вместе. Хотя бы день. Хотя бы два. Хотя бы несколько часов, которые вернут ей жизнь.

Она приехала вечером. Поезд опоздал на два часа, и на перроне было пусто. Орловский вокзал был маленьким, провинциальным, с низким потолком и запахом керосина. Она вышла из вагона с саквояжем в руке, огляделась. Никого. Только носильщики, которые тащили что-то чемоданы, да солдат, который дремал на скамейке у входа.

Она наняла извозчика — старого, с лошадьё, которая, казалось, вот-вот упадёт от усталости. Назвала адрес, который выучила наизусть: казармы Черниговского гусарского полка, дом командира. Извозчик кивнул, тронул лошадь, и они поехали по тёмным, немощёным улицам Орла.

Она сидела в пролётке, прижимая саквояж к груди, и смотрела на город, который мелькал за спиной извозчика. Орёл был некрасив в сумерках. Низкие дома, редкие фонари, церкви, которые казались чёрными на сером небе. Но она не замечала этого. Она видела только одну улицу, один дом, одно окно, в котором, наверное, горит свет.

Он ждал её на крыльце. Она узнала его ещё за квартал — по высокой фигуре в расстёгнутой шинели, по тому, как он стоял, вглядываясь в темноту, по тому, как его руки сжимали перила крыльца. Он узнал её ещё раньше — по тому, как она сидела в пролётке, прямая, тонкая, с саквояжем на коленях, по тому, как она поправляла шляпку, нервничая, по той особой, только ей присущей грации, которая не исчезала даже в самом дешёвом дорожном платье.

Он сбежал по ступенькам, не дожидаясь, пока лошадь остановится. Распахнул дверцу пролётки и, не обращая внимания на изумлённого извозчика, прижал её к себе. Она была холодная — на улице морозило, — и её щёки были ледяными, но он чувствовал, как под этим холодом бьётся её кровь, её сердце, её жизнь.

— Ты приехала, — прошептал он, уткнувшись лицом в её волосы. Они пахли морозом и чем-то ещё — тем самым, домашним, забытым, что он помнил с детства. — Ты приехала. Я уже не надеялся.

— Я не могла больше, — ответила она, и он почувствовал, как её плечи вздрагивают от беззвучных рыданий. — Я не могла без тебя.

Он заплатил извозчику, не глядя, сколько отдал, взял её саквояж и повёл в дом. Они поднялись по лестнице, прошли по коридору, где пахло махоркой и казённым сукном, и вошли в его квартиру. Она была маленькой, казённой — две комнаты с окнами на плац, — но сейчас, с зажжёнными свечами, с камином, в котором потрескивали дрова, она казалась самым уютным местом на земле.

Он помог ей снять пальто. Она стояла перед ним в простом шерстяном платье, бледная, исхудавшая, с кругами под глазами, но такая прекрасная, что у него перехватило дыхание.

— Ты похудела, — сказал он. — Ты не ешь.

— Я не могу есть, когда тебя нет, — ответила она, и он увидел, как по её щекам текут слёзы.

Он обнял её, прижал к себе, чувствуя, как она дрожит. Дрожит не от холода — от того, что наконец-то здесь, наконец-то с ним, наконец-то дома.

— Никогда больше, — сказал он. — Я никогда больше не отпущу тебя.

— Не отпускай, — прошептала она. — Пожалуйста. Не отпускай.

Это были лучшие дни в его жизни. Две недели, которые он потом вспоминал как самое светлое, самое чистое, самое настоящее время.

Они не выходили из квартиры. словно прятались от всего мира. Шторы были задернуты, дверь заперта, телефон отключён — он не хотел, чтобы кто-то, даже самые верные люди, знал, что она здесь. Это было их время. Их тайна. Их счастье.

Он сам готовил для неё. Умел он это делать плохо — вырос во дворце, где всё делали слуги, а потом в казарме, где кормили из общего котла. Но он хотел сделать для неё что-то своими руками. Он варил картошку, жарил яйца, разогревал суп, который ему приносили из офицерской столовой. Обжигал пальцы, ронял тарелки, ругался на непослушную плиту. Она смеялась — тем самым смехом, который он так боялся забыть, — и помогала ему, и они стояли на кухне, тесно прижавшись друг к другу, и варили картошку, и это было счастьем.

Вечерами они читали вслух. Он любил стихи Фета — «Шёпот, робкое дыханье, трели соловья», — и она слушала, положив голову ему на плечо, и в такт его голосу её дыхание становилось ровным, спокойным. Она любила Тургенева — «Дворянское гнездо», «Асю», «Накануне», — и он читал ей эти книги, которые знал почти наизусть, и голос его звучал тихо, нежно, и слова Тургенева становились их словами, их историей, их жизнью.

Иногда они спорили. О пустяках — о том, как правильно варить картошку, о том, какое вино лучше пить к ужину, о том, стоит ли держать фикус на окне или лучше переставить его в угол. Она говорила, что фикус любит свет, он — что фикусу нужен покой. Они спорили, смеялись, мирились, и в этих спорах было что-то такое, что делало их похожими на обычную семью. На тех, кто живёт не в казармах, не в казённых квартирах, а в своём доме, где всё общее, где всё решается вместе, где есть место и любви, и спорам, и фикусу на окне.

Однажды вечером они сидели на полу у камина, укрывшись одним пледом. Дрова потрескивали, за окном шумел дождь, и было тепло, уютно, безопасно. Он смотрел на огонь, на её лицо, освещённое пламенем, на жемчужную нить, которую она никогда не снимала, и думал о том, что это и есть жизнь. Настоящая. Та, ради которой стоит родиться великим князем, чтобы потом от всего отказаться.

— Я хочу, чтобы ты стала моей женой, — сказал он. — Не здесь, в тайне. По-настоящему. Я добьюсь развода для тебя. Я уговорю брата. Я откажусь от всего, если понадобится.

Она молчала. Смотрела на огонь, и он видел, как её глаза блестят в отсветах пламени. Она знала, что это невозможно. Император не даст разрешения на развод офицера ради брака с великим князем. Церковь не благословит этот союз. Династия не примет её — простую дворянку, да ещё и разведённую. Но когда она посмотрела на его лицо — открытое, решительное, счастливое, — она не могла сказать ему «нет».

— Мы найдём способ, — прошептала она. — Мы обязательно найдём.

Он обнял её, и они сидели так, глядя на огонь, и думали о том, что впереди — целая жизнь. И что они будут вместе. Обязательно будут.

Она не знала, что этот разговор подслушан.

В Орле у Михаила были не только верные денщики, готовые пойти за ним в огонь и в воду. Были и другие люди — те, кто обязаны были доносить в Петербург о каждом его шаге, о каждом слове, о каждом вздохе. Агенты охранного отделения, внедрённые в полк, следили за ним с того момента, как он ступил на орловскую землю. Они знали, когда он встаёт, когда ложится, что ест, что читает, с кем разговаривает. И они знали, что к нему приехала женщина.

Донос лёг на стол графа Фредерикса через неделю после приезда Натальи. Он был подробным, составленным по всем правилам жандармского делопроизводства:

«Вашему Сиятельству графу В.Б. Фредериксу, министру императорского двора.

Сим доношу, что 15 ноября сего года на квартиру командира Черниговского гусарского полка великого князя Михаила Александровича прибыла неизвестная женщина, личность которой установлена как Наталья Сергеевна Вульфферт, супруга поручика Гатчинского эскадрона. Женщина проживает в квартире великого князя, не покидая её пределов, и отношения между ними носят характер, порочащий честь династии и звание офицера. Прибытие совершено без согласия супруга, что является нарушением супружеского долга и может быть использовано недоброжелателями империи для компрометации императорской фамилии. О дальнейшем буду доносить немедленно по получении сведений.

Вашего Сиятельства верный слуга,

Н.Н. (подпись неразборчива)»

Фредерикс прочитал донос, перечитал, задумался. Он знал, что это может значить. Скандал, который разразится, если информация станет достоянием гласности, может быть страшнее, чем все революционные бомбы. Великий князь, брат императора, живёт с чужой женой, которая ушла от мужа без разрешения. В газетах об этом напишут. В Европе будут смеяться. Династия будет опозорена.

Он взял донос, положил в папку с грифом «Совершенно секретно» и отправился в Царское Село.

Николай II принял брата в своём кабинете в Александровском дворце на следующий день после того, как Фредерикс принёс донос. Михаила вызвали срочной телеграммой, и он приехал из Орла в Петербург в тот же вечер, оставив Наталью одну в квартире, с наказом не выходить на улицу и не открывать дверь никому.

Он вошёл в кабинет и сразу понял, что этот разговор будет другим. Не было той семейной теплоты, которая была в прошлый раз, когда они говорили о гатчинских слухах. Не было сожаления в глазах брата. Николай сидел за столом прямой, как струна, пальцы его сжимали край столешницы так, что побелели костяшки. На столе перед ним лежала папка, и Михаил понял, что в ней — донос.

— Я всё знаю, — сказал император, не глядя на брата. — О её приезде в Орёл. О том, что вы жили вместе. О том, что она до сих пор у тебя.

Михаил молчал. Он знал, что лгать бесполезно.

— Ты опозорил себя, Миша, — сказал Николай, и в его голосе не было гнева. Была усталость. Глубокая, бездонная усталость человека, который слишком долго носит корону, кото-

рую не просил. — Ты опозорил нашу семью. Что скажут в армии? Что скажут в Европе? Ты великий князь, брат государя, а ведёшь себя как последний гуляка.

— Я люблю её, — повторил Михаил, и в его голосе не было ни капли раскаяния.

Николай встал, прошёлся по кабинету, заложив руки за спину. Он был высок, тонок, и в своём сюртуке казался ещё более хрупким, чем обычно.

— Любовь? — он повернулся к брату. — Ты думаешь, я не понимаю, что такое любовь? Я люблю Аликс. Я люблю её больше жизни. Я знаю, что такое просыпаться рядом с человеком, без которого не можешь дышать. Но есть долг, Миша. Есть честь династии. Ты не имеешь права ставить свои чувства выше интересов империи.

— А ты имеешь? — тихо спросил Михаил.

Николай остановился. Медленно повернулся к брату. Глаза их встретились, и в этот момент в них не было ни гнева, ни вражды. Только глубокая, бездонная печаль двух людей, которым судьба дала слишком много власти и слишком мало свободы.

— Я император, — сказал Николай после долгой паузы. — А ты — мой подданный. И я приказываю тебе: прекрати эти отношения. Немедленно и навсегда. Она должна уехать. Сегодня же. Ты вернёшься в Петербург, но будешь жить под моим надзором. Если я узнаю, что вы встречаетесь, если я узнаю, что она приезжала ещё раз... я пошлю тебя в действующую армию. В самую глушь. Или лишу тебя всех званий. Выбор за тобой.

— Ты не можешь запретить мне любить, — сказал Михаил.

— Могу запретить тебе видеться, — ответил император. — А остальное — между тобой и Богом.

Михаил стоял, глядя на брата. На этого человека, которого он любил, которому доверял, который был для него не только императором, но и старшим братом, тем, с кем они вместе играли в Гатчине, вместе потеряли отца, вместе пережили ужас 1905 года. И теперь этот человек приказывал ему отказаться от единственного, что делало его жизнь осмысленной.

— Я подчиняюсь, — сказал Михаил, и в его голосе не было покорности. Была та же твёрдая, спокойная решимость, что и раньше. — Я подчиняюсь как офицер. Но как человек — я не откажусь от неё. Никогда.

Он поклонился и вышел. В коридорах Зимнего его шаги звучали гулко и одиноко. Он шёл к выходу, и в его голове билась одна мысль: «Наташа. Что я скажу Наташе?»

Он вернулся в Орёл на следующее утро. Она ждала его на крыльце, как тогда, в первый вечер, — в тёмном пальто, с саквояжем у ног, с глазами, в которых он увидел всё: и надежду, и страх, и любовь, и предчувствие разлуки.

— Ты видел брата, — сказала она, когда он подошёл.

— Да.

— Что он сказал?

— Ты должна уехать, — сказал он. — Сегодня.

Она не заплакала. Она стояла, глядя на него, и её лицо было спокойным, только руки, сжимавшие ручку саквояжа, дрожали.

— Я знала, — сказала она. — Я знала, что так будет.

Он взял её за руку, повёл в дом. Они поднялись в его квартиру, и он помог ей собрать вещи — немного: платье, бельё, жемчужную нить, фотографию. Она складывала всё в саквояж молча, аккуратно, как складывают вещи, когда знают, что больше никогда сюда не вернуться.

— Я буду писать, — сказал он. — Каждый день.

— Не надо, — ответила она. — Они перехватят. Мы не должны рисковать.

— Тогда как? — спросил он, и в его голосе прозвучало отчаяние. — Как я узнаю, что ты жива? Что ты... что ты ещё любишь меня?

Она подошла к нему, взяла его лицо в ладони.

— Я всегда буду любить тебя, — сказала она. — Всегда. Даже если мы не увидимся. Даже если мы не будем писать. Даже если нас разлучат навсегда. Я буду любить тебя. Помни это.

Он обнял её, и они стояли так, в этой маленькой, казённой квартире, где они были так счастливы всего несколько дней назад, и слушали, как за окном шумит ветер, и знали, что это — последние минуты их орловского счастья.

Он провёл её на вокзал. Они ехали на извозчике молча, держась за руки. На перроне он помог ей подняться в вагон, поставил саквояж на полку. Она стояла у окна, и он смотрел на неё, и ему казалось, что сердце его разрывается на части.

— Я вернусь, — сказал он. — Я найду способ. Мы будем вместе.

— Я буду ждать, — сказала она. — Всегда.

Поезд тронулся. Он стоял на перроне, глядя, как вагоны уходят в темноту, как окна её вагона становятся всё меньше, как исчезает её лицо, прижатое к стеклу. Он стоял, пока поезд не скрылся за поворотом, и ветер не унёс последний дым.

Потом он повернулся и пошёл. Шёл по пустому перрону, мимо спящих носильщиков, мимо фонарей, которые мигали жёлтым светом, и думал о том, что впереди — долгая разлука. Что они будут писать редко, встречаться ещё реже, что каждый день будет длиться вечность, что каждый вечер он будет сидеть в своей казённой квартире, смотреть на окна, за которыми нет её, и ждать.

Ждать, когда снова можно будет быть вместе.

Глава 6. Тайная жизнь

После орловского скандала Михаил Александрович вернулся в Петербург, но это был уже не тот Петербург, где он когда-то чувствовал себя если не свободным, то хотя бы терпимым. Теперь он был пленником. Император определил ему крыло в Аничковом дворце — том самом, где прошло его детство, где отец когда-то брал его на колени и рассказывал о морских походах, а мать угощала чаем с вареньем. Теперь это крыло стало его тюрьмой.

Каждый его шаг отслеживался. За ним следили не только жандармы в штатском, которые дежурили у ворот дворца, делая вид, что читают газеты, но и собственная прислуга. Камердинер, которого он знал с детства, старый Фёдор, теперь получал щедрое жалование от двора за исправные доносы. Горничные, которые убирали его комнаты, докладывали, что нашли под подушкой, какие книги лежат на столе, не пахнет ли от великого князя женскими духами. Даже повар, который готовил ему обед, был обязан сообщать, в каком настроении его высочество изволил кушать и не спрашивал ли он, случайно, о чём-то, что могло бы выдать его тайные планы.

Михаил знал об этом. Знал и делал вид, что не замечает. Он стал другим — тем, кого в семье считали простодушным и недалёковидным, но кто на самом деле научился скрывать свои мысли так же хорошо, как когда-то в Гатчине прятался в подземных ходах от гувернёров. Он был вежлив с Фёдором, любезен с горничными, рассеян с поваром. Он оставлял на столе не те книги, которые читал, говорил не то, что думал, и улыбался не тогда, когда ему было весело. Он стал актёром. И играл свою роль так хорошо, что никто не замечал, что под маской рассеянного, беззаботного великого князя живёт человек, который каждую ночь планирует побег.

Он продумывал маршруты, когда лёжа в постели, глядя в потолок, слушая, как тикают часы на камине. Он знал, в котором часу сменяется караул у ворот, когда дворники уходят ужинать, где можно перелезть через ограду Аничкова сада, не привлекая внимания городских. Он знал, у каких извозчиков можно нанять пролётку, не называя адреса, какие рестораны держат хозяева, готовые за хорошую плату закрыть отдельный кабинет для тайных гостей. Он стал виртуозом конспирации — тем, кого в Петербурге называли «ночной бабочкой», не подозревая, что эта бабочка — великий князь, брат самого императора.

Он выходил из дворца, когда город затихал. Переодетый в штатское — простое пальто, мягкая шляпа, никаких знаков отличия, — он проходил через калитку, которую охранял старый солдат, которому он когда-то помог с лечением дочери. Солдат смотрел в другую сторону, и Михаил скользил в темноту, растворяясь в ночном Петербурге.

Он шёл по набережной Фонтанки, мимо Летнего сада, где решётки казались чёрными на фоне белого снега, мимо Михайловского замка, который стоял мрачный и пустой, как памятник убитому императору. Он шёл, и снег скрипел под его ботинками, и ветер дул с Невы, и он чувствовал себя свободным — впервые за весь день. Свободным, потому что знал: через час, через два он увидит её.

Они встречались в самых неожиданных местах. В загородных ресторанах на Крестовском острове, где хозяин, старый итальянец, за большие деньги готов был закрыть отдельный кабинет для тайных гостей. В квартире его верного друга, офицера, который рисковал карьерой, предоставляя им свою холостяцкую берлогу на Васильевском острове. Иногда — в самые отчаянные времена, когда слежка становилась особенно плотной, — просто в пролётке, на ходу.

Он нанимал извозчика, называл первый попавшийся адрес, а через несколько кварталов, на тёмной улице, она садилась к нему с другой стороны, и они кружили по ночному Петербургу, говорили шёпотом, целовались, прижавшись друг к другу, и смотрели, как заснеженные улицы сменяют одна другую. Извозчик, получивший щедрую плату вперёд, не оборачивался. Он вёз

их по набережным, мимо Исаакя, мимо Медного всадника, мимо Зимнего, где в окнах горел свет, но никто не знал, что великий князь, брат императора, в этот час катается по городу с чужой женой.

— Мы как герои дурного романа, — смеялась Наталья сквозь слёзы. — Скоро начнём передавать записки с помощью дуэний.

— У нас уже есть, — улыбался Михаил, доставая из кармана сложенный вчетверо листок. — Сегодня утром мне передал его садовник. Ты написала, что скучаешь. Я сходил с ума весь день.

Она прижималась к нему, и он чувствовал, как её сердце бьётся в такт его сердцу. И в эти минуты мир переставал существовать. Не было Петербурга, не было дворцов, не было жандармов, не было брата, который приказал им расстаться. Был только он и она, и снег за окном, и тихий скрип полозьев по мостовой.

Наталья всё ещё жила с мужем. Формально — в разных комнатах, но под одной крышей. Владимир Вульферт, узнавший о её поездке в Орёл, уже не сдерживал ненависти. Раньше она была для него женой — нелюбимой, но своей, частью его жизни, его дома, его жалкого, убогого быта. Теперь она стала его унижением. Каждый раз, когда он выходил на улицу, ему казалось, что прохожие смотрят на него с усмешкой. Каждый раз, когда он входил в офицерское собрание, он чувствовал, как разговоры стихают, как офицеры отводят глаза, как кто-то шепчет за его спиной: «Вульферт? Тот самый? У которого жена...»

Он требовал развода. Но не из благородства — он хотел денег. Он знал, что великий князь заплатит любую сумму, лишь бы освободить любимую женщину. Знал и готовился торговаться. Он ждал, когда Михаил придёт к нему сам. Придёт и попросит. На коленях. Потому что в этой истории он, поручик Вульферт, был не только униженным мужем, но и человеком, который держал в руках судьбу великого князя.

Он сидел вечерами на кухне, пил водку и представлял, как это будет. Как он скажет: «Ваше Высочество, вы опозорили меня. Вы опозорили моё имя. Вы сделали из меня посмешище. Что вы можете предложить, чтобы я забыл об этом?» И великий князь будет стоять перед ним, бледный, униженный, и говорить: «Владимир Фёдорович, я прошу вас...» И он, Вульферт, будет смотреть на него сверху вниз и думать: вот он, брат императора, а я, поручик, никто, сейчас могу сделать с ним всё, что захочу.

Но когда Михаил действительно пришёл, Вульферт растерялся.

Это случилось в один из февральских вечеров 1908 года. В квартире на Кирочной было темно и холодно — Вульферт сэкономил на дровах, чтобы было больше денег на водку. Он сидел на кухне, перед недопитой бутылкой, и смотрел в окно, когда в дверь постучали.

Он открыл. На пороге стоял великий князь. Без свиты, без охраны, в простом штатском пальто, с лицом, которое было спокойным и серьёзным. Он вошёл, снял шляпу, положил на тумбочку.

— Владимир Фёдорович, — сказал он. — Я хочу поговорить с вами.

Вульферт провёл его в гостиную — ту самую, где когда-то они пили чай, когда он был болен, и великий князь приходил его навещать. Теперь здесь всё было по-другому. Шторы задернуты, на столе пусто, только пепельница, полная окурков. Наталья была в своей комнате — Вульферт слышал, как она ходит за стеной, и знал, что она слышит их.

— Садитесь, — сказал Вульферт, и сам сел в кресло, стараясь принять позу уверенного человека, но его руки дрожали, и он спрятал их под стол.

Михаил сел напротив. Смотрел на Вульферта спокойно, без вызова, без высокомерия. В его взгляде не было ни презрения, ни жалости — только усталая, выстрадавшая решимость.

— Владимир Фёдорович, я люблю вашу жену, — сказал он. — Я прошу вас дать ей развод. Я готов компенсировать вам все издержки и обеспечить ваше будущее.

Вульферт смотрел на него, и в его глазах горело желание ударить, плюнуть, растоптать этого величественного, спокойного человека, который пришёл отнимать у него последнее — даже не любовь (её давно не было), а право называться мужем, право на гордость, право на то, чтобы не быть посмешищем.

— Вы опозорили меня, Ваше Высочество, — прошипел он, и голос его сорвался на визг. — Вся армия знает, что вы спите с моей женой. Вы хотите, чтобы я стал посмешищем? Чтобы на меня показывали пальцем? Чтобы моё имя стало притчей во языцех?

— Вы станете богатым человеком, — спокойно ответил Михаил. — Я даю вам слово. Вы уедете из Гатчины, из Петербурга. Начнёте новую жизнь. Там, где никто не будет знать вашего имени. Или, если захотите, останетесь. Я помогу вам с карьерой. Сделаю всё, чтобы вы не нуждались.

Вульферт заколебался. Ненависть боролась в нём с жадностью. Он хотел унижить этого человека, который стоял выше его на столько ступеней, что их не счесть. Но он знал, что унижить его не сможет. Он был слишком мал. А деньги — деньги были реальны. Деньги могли дать ему то, чего он никогда не имел: свободу.

— Двести тысяч, — сказал он, и сам удивился тому, как легко назвал эту сумму. — И я исчезну. Навсегда. Она будет свободна. Я подам прошение о разводе. По любой причине, которую вы укажете. Но я хочу, чтобы вы знали: я делаю это не ради денег. Я делаю это, потому что... — он запнулся, не зная, что сказать. Потому что что? Потому что устал? Потому что понял, что не любит её? Потому что боится? — Потому что мне всё равно, — закончил он.

— Согласен, — сказал Михаил, не торгуясь.

Он встал, надел шляпу. На пороге обернулся.

— Деньги будут переданы через моего адвоката, как только вы подадите прошение. И ещё, Владимир Фёдорович. Я хочу, чтобы вы знали: я не враг вам. Я не желаю вам зла. Я просто не могу без неё.

Он вышел. Вульферт остался сидеть в кресле, глядя на закрытую дверь. В его голове шумело, и он не понимал, что чувствует. Злость? Облегчение? Или то странное, щемящее чувство, которое приходит, когда понимаешь, что ты проиграл, но проиграл достойно?

За стеной слышались шаги. Наталья вышла из своей комнаты, прошла в гостиную. Она была бледна, её руки дрожали. Она смотрела на мужа, и в её глазах не было ни страха, ни ненависти — только усталость.

— Он ушёл, — сказала она.

— Ушёл, — ответил Вульферт.

Она повернулась, чтобы уйти, но он остановил её.

— Наталья, — сказал он, и в его голосе впервые за долгое время не было злобы. — Ты счастлива?

Она обернулась. Посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. В этом взгляде было всё: и боль, и прощение, и то, что он никогда не понимал в ней — любовь. Не к нему. К другому. Но любовь.

— Да, — сказала она. — Счастлива.

И вышла.

Деньги были переданы через адвоката. Двести тысяч рублей — сумма огромная по тем временам, на которую можно было купить дом в Петербурге, имение в Крыму, несколько экипажей и жить безбедно до конца дней. Вульферт получил эти деньги и исчез. Он уехал из Гатчины, из Петербурга, из России. Поговаривали, что он поселился в Швейцарии, купил там дом, женился на молодой швейцарке и забыл о том, что когда-то был поручиком, у которого великий князь отнял жену.

Осенью 1910 года брак Натальи Сергеевны с поручиком Вульфертом был расторгнут. Причина, указанная в документах, звучала казённо и безлико: «неисправимый распад семей-

ных отношений». Никто не упоминал великого князя, никто не упоминал двести тысяч, никто не упоминал той ночи, когда Михаил пришёл в квартиру на Кирочной и стоял перед униженным мужем, прося о свободе для любимой женщины.

Наталья получила документы о разводе в тот же день, когда Вульферт уехал из Петербурга. Она сидела в своей комнате, сжимая в руках бумагу с казённой печатью, и не могла поверить, что это случилось. Она свободна. Свободна от человека, который был её мужем, но никогда не был ей мужем. Свободна от той жизни, которая тянулась годами, как бесконечная, серая, пустая дорога. Свободна. Но что это означало?

Она вышла на улицу. Петербург был серым, холодным, обычным. Люди шли по своим делам, извозчики кричали, торговки торговали пирожками. Никто не знал, что эта женщина в простом пальто, с бледным лицом и глазами, полными слёз, только что обрела свободу. Она шла по Невскому, мимо Казанского собора, мимо Гостиного двора, мимо Аничкова дворца, где в окнах горел свет, и знала, что там, за этими стенами, он ждёт её. Ждёт, чтобы сказать: «Теперь ты моя. Теперь мы будем вместе».

Она зашла в маленькую кофейню на Литейном, заказала чашку кофе и села у окна. В руке она всё ещё сжимала бумагу о разводе. Она смотрела на неё, и ей казалось, что это не бумага, а ключ. Ключ от новой жизни. От той жизни, о которой она мечтала, которую боялась, которую ждала.

Но в этой свободе было и что-то другое. Страх. Она была свободна от одного мужчины, но теперь она принадлежала другому. Не так, как прежде — не по закону, не по бумаге, а по любви. По той любви, которая была сильнее законов, сильнее императорских указов, сильнее всего, что мог придумать этот мир. И эта любовь была для неё не свободой, а судьбой.

Она допила кофе, вышла на улицу и пошла к Аничковому дворцу. Не таясь, не прячась, как раньше. Она шла открыто, и ей было всё равно, кто смотрит, кто шепчется, кто узнаёт её. Она шла к нему. И это было главное.

Они встретились в тот же вечер. Михаил ждал её в своей квартире в Аничковом — той самой, которая была его тюрьмой, но сейчас казалась ему дворцом. Он открыл дверь, увидел её, и у него перехватило дыхание. Она была бледна, её глаза блестели, и в руке она держала бумагу — ту самую, которую он ждал два года.

— Я свободна, — сказала она, и голос её дрожал.

Он взял бумагу, прочитал, потом отложил в сторону. Обнял её, прижал к себе, и они стояли так, в тишине, слушая, как бьются их сердца.

— Теперь ты моя, — сказал он. — Навсегда.

— Навсегда, — повторила она.

Они сели на диван, и она рассказала ему всё. О том, как Вульферт требовал денег, как он пил по ночам, как она боялась, что он ударит её, как она ждала, ждала, ждала, пока этот кошмар не кончится. О том, как получила бумагу и не поверила своим глазам. О том, как шла по Невскому и чувствовала себя невесомой, словно её сняли с якоря, который держал её на дне.

— А теперь, — сказала она, — я боюсь.

— Чего? — спросил он.

— Того, что это не конец, — ответила она. — Того, что твой брат не позволит нам быть вместе. Того, что мы никогда не сможем жить открыто. Того, что мы навсегда останемся в этой тени.

Он взял её за руку.

— Мы выйдем из тени, — сказал он. — Я добьюсь разрешения. Я уговорю брата. Я сделаю всё, чтобы ты стала моей женой. Законной. Перед Богом и людьми.

Она посмотрела на него, и в её глазах была надежда. Но была и грусть. Грусть женщины, которая знает, что обещания — это только обещания. А жизнь — это жизнь. И в жизни не всё случается так, как мы хотим.

— Я буду ждать, — сказала она. — Я умею ждать.

Он обнял её, и они сидели так, глядя на огонь, который догорал в камине. За окном шумел ветер, и где-то вдали слышался звон колоколов. Это был 1910 год. Год, когда она стала свободной. Год, когда они поверили, что теперь всё будет по-другому.

Но они ошибались.

Свобода, которую она обрела, оказалась свободой узницы, сбежавшей из одной темницы только для того, чтобы оказаться в другой, ещё более роскошной и ещё более глухой.

Теперь она жила не на Кирочной, в казённой квартире, где пахло щами и нафталином. Она жила в Петербурге, в доме, который снял для неё Михаил, — скромном, но уютном, с высокими окнами и камином в гостиной. У неё была прислуга, были деньги, была свобода распоряжаться своим временем. Но она не могла выйти на улицу без страха, что её узнают. Не могла пойти в театр, в гости, на прогулку, как все. Она была невидимкой. Женщиной, которая существует, но которую не замечают. Или, хуже того, кото

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.